

---

## ПРОЗА МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА\*

**Алексей Яшин**  
(г. Тула)

### СВАТОВСТВО НА ИТАКЕ Повесть



Репродукция с картины Тициана «Вакханалия андрийцев» (Мадрид, Прадо)

*Некто пятеро говорил на общую тему. И было сказано:*

***Л. де-В.:** Если душа человека встречается другого, по телу которого она судит о создавшей его душе и о сходстве своем с душой другого человека, она начинает чувствовать любовь, влюбляется...*

***И.Г.:** Если я люблю тебя, что тебе до этого?*

***С.К.:** Что такое юность? — Сон. Что такое любовь? — Содержание сна.*

***Ф.Н.:** В конце-концов всякий любит свои желания, а вовсе не то, что является предметом его желаний.*

***А.М.:** Причина любви больше в нас самих, чем в любимом существе...*

*Проходил мимо человек древний, согбенный тяготами и несчастьями жизни, с палочкой, слепой, вдобавок нищий — и вспомнил:*

◆ Горе мое и умиротворение: горе и горé; умиротворение смотрит горé — не высокомерно, не свысока. Свет невечерний — тишина, но и движение; он — молчание,

---

\* Определение жанра прозы магического реализма, одного из древнейших, восходящих к античности, дано в «Колонке главного редактора» («Словесное золото сельвы: истоки одиночества») в «ПЗ» № 4, 2017.— С. 3—14.

но и подвижность. Так летает крылатая мышь ночи. Невечерний свет — живая естественность, как несуразностью смотрится перепончатокрылая летучая мышь. Невечерний свет — предзакатное небо, остывающие пыльные листья, успокоившиеся люди, отдаленные звуки, неслышащие уши.

Спокойное сердце, ритм не вечернего света, слоистая мысль — воздушный слойный пирог: каждый цвет — своя сладость, свой вкус, не похожий ни на какой другой. Грустное бескрайнее море. Переход от слоя к слою так неясен, но он есть: сквозь зеленые воды смотрится синь, а дальше — угольный сумрак холодного провала глубины. Оно не только бескрайнее, море — бесконечное. На поверхности гигантской, немисливо выпукло растекшейся капли ни единой морщины: розовые щеки упитанного младенца — женщины разучились кормить грудью, а он, как на удобрениях, растет на импортных бебемиксах, фруталиках — выдувающего и выдуваемого без конца: уфф! Уфф!

Свет не вечерний золотит сусальной патиной поверхность бескрайнего, бесконечного моря; не винопрекрасного моря Гомера, не сопливо-зеленой дублинской бухты, не стендалевского лазурного залива Неаполя.— Сусальная копоть не вечернего моря.

◆ Рефлексия — растворитель всякой логики, всякой мысли. Разжижение мозга — болезнь, а разжижение мысли? — Переход к более художественному осмыслению? Формулировка чудаковатого соседа, тридцать лет созидающего собственную версию политэкономии социализма: художественное творчество, учитывая минимум общественных материальных затрат и максимальное выявление качеств человека, как уникального, ни на что не похожего создания природы, является наиболее производительным видом труда.— Нет, скорее это просто рассеянность ума, его активная форма отдыха. Это о рефлексии, конечно. Не потому ли рефлексивные позывы так естественны, а бездумное созерцание столь приятно?..

Нет ничего опаснее всеислия мечты.— Если мечтание безудержно, препоны снесены, утрачены халатной фантазией. Вред мечтания даже более ощутим, нежели ступляющей энергию ума вред музыки. Та дает лишь эфемерный самообман собственным могуществом, рвущимся, хлещущим из подсознания, а фантастическая мечта привносит иллюзию самоудовлетворения активным сознанием, возможной действительностью. Выключить же, как музыку, ее нельзя. Впрочем, она приятна, даже эта — из парка, приглушенная на обертонах пыльной остывающей листвой деревьев. Все самообман, сладость его — сладость слоеного воздушного пирога; с ними приходят удовлетворение, не вечерний свет тоски, негативом своим перевоплотившийся в совсем иное, не грызущее душу качество.

Философский этюд длиною в двести шагов по обочине тротуарной дорожки.

◆ Мысль ощупью приближается к постоянной мечте о ней, такой неоформленной в конкретном образе, но с душой и абрисом тела, сконцентрированного за те несколько тысяч дней и ночей, прошедших с того, как глаза впервые остановились на личиках с челками, косичками, хвостиками, веснушками. Иной взгляд — иной мир отворился перед малочувственной еще душой столько-то тысяч дней и ночей тому назад.

Но много меньше прошло со времени первого ответа на позыв, тягу, крик души и тела. Удивительно: душа находила душу, тело — страсть тела, но почему-то именно сейчас, как те самые тысячи дней и ночей тому назад, он ищет, с замиранием ждет встречи с воссозданным образом? Полю! Откуда тот образ: скелет ли, состроенный из тончайших оттенков тех многотысячедневных мечтаний, многотысячечных снов без сна? Или глупый болванчик идаела — фигура усреднения — вошел в него? — Он не знал ее ло конца, зная давно. Не мог понять: отражение ли своей души ищет в ней, либо нового, неведомого ему открытия. Зная женщину, он ее искал.

Просто приятные, смешливые, умные, лукавые, похотливые, откровенно красивые, молодящиеся, нестареющие лица наплывали на него, равнодушные ловил он взгляды, интересующиеся и заинтересованные, округло-глупые, ласковые, умно-пепельные из-под стекол очков темно-муаровых, выпукло-минусовых, сиренево-затуманенных, вовсе не прикрытых стеклом глаз. Несли их стройные, полноватые, женственные, откровенно выставяемые или при ходьбе открываемые, тоненькие, идеально округлые, совсем (господи!..) некрасивые, загорелые, молочно-белые, по-восточному поросшие, с высокими, лекально выправленной формы бедрами, прекраснородыжные, умопомрачительные для двадцатилетнего взора, в мини, в макси, в миди, привлекательные, равнодушные взору ноги встречающих, гуляющих на выданье девушек.

Не только навстречу. Статистически равное по числу шло и в его направлении; обгоняли, он обгонял, некоторое время шли в ногу, в плечо. Оборачивались, он оборачивался: удивленные, досадливые, равнодушные, польщенные...

Семирамида — бессмысленный, конформный ко всему знак памяти, амфорный образ сравнения, ассоциирующийся с высокогрудой, полнобедренной, в сиреневых очках-бабочках с апельсиновым ярлыком-наклейкой — не овальных, а огромно-круглых сиреневых очках махаона. Очковая змея — это противоположность: тощая, с кривыми ножками-ножницами и шипит из-под роговых очков, где армированной коричневой пластмассой проволоки оправы и заушин больше, чем искажающего геометрию пучка света линзового стекла.

◆ Прошло несколько лет, он и дальше идет себе, а все начинается заново в каждую секунду жизни — скользкий пластинами слоеного пирога жизни: что-то случилось в некий момент: завязка. От нее разворачивание жизни идет до конца дней твоих, но вот следующая завязка, в следующий момент — временной срез жизни — от него идет разворачивание жизни до конца дней твоих... Бесконечная колода симметрично сдвинутых карт: каждая карта — момент отсчета, завязка. — Слоеный, параллелепипедально сдвинутый, бесконечной толщины пирог. Он оптимист, а пирог сладок, бесконечный в толщине, параллелепипедально сдвинутый по вертикали слоеный воздушный пирог. Чудо искусства кондитера-жизни.

Сейчас — он остро это почувствовал — такой же момент, как три года тому назад. Совпали сдвинутые во времени на три года абсолютно одинаковые карты: дама-треф.

Эти грубые скамейки из кое-как отфургованных бросовых досок, пришипленных ржавыми болтами к пупырчатым чугунным разлапистым держакам, по словесной прихоти канцелярщины названы садовыми диванами. С тощим костистым задом на них долго не просидишь. В не вечернем свете, в тишине — пусть музыка явственна и слышна хорошо, но приглушена листвой на обертонах — курение сравнимо только с удовольствием хорошо поесть. Сигаретный дым — желудочный сок, он голубее не вечернего синего неба. То — темнее, плотнее. Самые большие искушения жизни побуждают в не вечернем свете предельно устроенное, спокойное существование. Треклятая скамейка! — Девочка с тощим задом... Да-да, скамейка. А ей не по себе?! Очень уж худа, хотя и на это есть гурманы. Но в общем... это глупое слово из того, того самого века: пикантна; соус-пикан. И я не мальчишка, чтобы волновал меня тощий зад; грубо, но определено.

Встала, идет, дьявол! — Беспокойство. Прошла бы мимо, мне ты не нужна... ну, подойди, подойди же — бес любопытства.

— Пр-простите, у вас спичек не будет? — Она чуть заикается. Волнение? Походка странная: то ли от долгого, неуютного сидения на жестких двухдюймовых досках, то ли модно... на моду цензуры нет. Одета для ее возраста стандартно, то есть прилично. — Из парковых девочек, хотя, пожалуй, нет: совсем не намазана. Лет двадцати с хвостиком, не меньше.

— Спасибо,— он в наступающей на глаза и на все лицо темноте увидел (или не увидел? А это она позже так часто повторяла, что стало убежденностью: увидел): она обзналась.

— Спасибо,— все также странновато тыкаясь вперед коленками — тогда носили мини — отошла в двойную тень: вечера и дерева. К соседней скамейке. Чуть позже он разъяснил себе странность походки: будучи для своей худобы относительно высокого роста, она носила туфли на среднем каблуке, а в тот вечер надела для пробы впечатления сестрины итальянские с двенадцатисантиметровыми шпильками... Ее длинноватый в ретуширующей тени профиль освещался искорками часто вспыхивающей сигареты. Преодолев нечто схожее с застенчивостью, он поднялся, подошел, спросил глупейшее:

— Вам, я вижу, несколько не по себе? Расстроены? Могу я вам помочь? — Они стали знакомыми.

◆ — Ублюдок с языком змеи — порождение случайной встречи жабы и навозного жука, зачат был на гноящемся трупе сдохшей бешеной собаки в кипящей куче крупных червей, зачат в дико отвратительной, страшной животной похоти; в те несколько секунд, что их осклизлая шкура и шелестящий сухой панцирь слиплись, они успели-таки в неистовой, неистребимой даже похотью злобе, искушать друг друга, исцарапать, оторвать мерзкие бородавки, черные проволоки щетинящихся усов, а потом отскочили в разные стороны — углы помойки и принялись, утолив гнусную похоть, пожирать гниющие, вскипающие сукровичной смолой расплзшиеся внутренности бешеного пса...

Тошнота... Ты понимаешь? Тошнота. Понимаешь, что это за человек... почему — о, господи! — не рожден я столетием раньше, когда законом чести было бы проткнуть этого ублюдка?! Так я бы горло ему перегрыз, обойдясь безо всякой колющей или рубящей железяки. О, господи! Мир полон ублюдков — порождений гнусных эпох, боковых отростков эволюции приспособленчества, мерзких... топтать! Топтать! У-у-у!! — Он ударился затылком о стену — Стена. Эс-Карма — из глаз выбрызнули слезы, слезы ненависти, обиды, отчаяния, ворота которых — распалая обиду сверх всякой меры алкоголь. Не будь этих ворот, душа бы захоркла, обуглилась от затаенной ненависти, бессильной злобы. Она, одним рывком втянувшись в его тень, положила ладошку на ушибленный затылок. Он же, не чувствуя ее мягкой, гладящей, перебирающей спутанные волосы руки, еще раз откинулся в отчаянии головой. — Больно,— шепотом, целуя, обнимая его шею, притягивая к себе, сказала она,— больно, милый,— отняла ушибленную руку, попросила:

— Подуй, — еще требовательнее:

— Подуй! Подуй обязательно. Успокойся, ну?! Успокойся же, как тебе (— целует —) не стыдно плакать, у меня первоклашки только плачут на прививках и то не все, девочки. А ты — в слезы... Перестал? — Вот так, не отворачивайся, я не нос же, слезы вытру, вот так, таа-к. Забудь. Он того не стоит, слез не стоит. Я понимаю, понимаю, что плачешь раз в десять лет — все мужчины так говорят, что вино расслабляет... Но поверь мне: не стоит он и одной слезинки. Всегда, везде, будут подлецы, лучше всего обходить их... как обходишь мусорные свалки. Что ж поделаешь: не люблю свалку можно срыть или засыпать.

И верно. Слова ее расхожие — бальзам: теплая, успокаивающая аура, амбра губ, шепот сладкого сна, теплые волны не грохочущего, нет-нет, то в яростных любовных битвах, нет — волны накатывающего на тебя безмятежного, теплого мягкого моря, что переливающейся, струящейся выпуклой мантией доброго шепота разлилось из гигантской, упавшей на тебя капли.

Господи! Бог наш распятый, чуждый, затверженный, мой Бог — ты, она: она и ты — двуединение с ласковым шепотом, запахом струящихся по плечам волос: пышные травы дна не вечернего моря. Ты — загадка явная, загадка нерешаемая; сколько мудрой истины в древних словах: ты — часть меня, не она — самое целое, а ты — часть моя, незнаемая и познаваемая, утолитель боли, жажды, тоски. Я — твой первоклашка, плачущий в медикаментозной белизне куба комнаты от боли укула. Запах эфира — это ты. Он тонок, струится и... не вечерен, как не вечерен я, а значит и ты — часть моя. Я — твой Кай, ты — моя Кая! Исцеление мое, исцеление и свет мира. Перебирая древние мудрые слова, впитал я поцелуй твой бесконечный, что продолжен во взгляде, ласке, теплоте ладони, зыбкой шелковистости овала груди, упругой округлости бедер, таинственности лона, струях колеблющихся трав дна не вечернего моря. Соль моря высыхает на щеках, отодвинулось в вечность видение мерзкого творения с липкими конечностями...

— Тебе пора... Именно тебе пора, до свидания и еще: не плачь по пустякам, мой первоклашка, не плачь. Лучше поцелуй. Вот так, еще... еще, еще. Остаешься? — Видишь, я уже не краснею как недавно — ведь ты мой первый опыт, а целую тебя, что значит: благодарю.

◆ Но не первый опыт для него она, ибо жизнь была в начале, он искал, пока не находил, не решаясь дать обязательство, будучи в сомнении. Он быстро, легко расстался с недолгим по времени предшествующим опытом жизни. Не в пример этой, та была гордой своей упругой пышностью, груди ее восхищали встреченных по пути жизни, обладала она неподражаемым жестом единым вздрагиванием (Как собака породистая, — думалось ему порой) переструить нужным оттенком тоже длинные, но только жесткие, густые пряди светлых, крашенных волос. Впрочем — это не самоизвиняющая отговорка — они почти что расстались до его нового знакомства. Проснувшись однажды, он рассказал ей вещей сон о былом: снилась избушка, скорее обычный сарайчик с замком; каждый вечер он впускал черную говорящую собаку. Где она проводила день, откуда прибежала? — Он не знал, не думал об этом, но поближе к темноте ночи, повинувшись неясному зову, отпирал двери сарая: приходила та собака, вежливо здоровалась, они беседовали о незначателе, о погоде, затем собака женственно, подрагивая всей кожей, вытягивалась в сладком зевке, исчезала в темноте сарая. — Ему становилось спокойно, он запирает дверь, до утра чувствовал себя прекрасно, не тревожился ни о чем.

Однажды, открыв в урочный час дверь, он увидел большую лохматую белую собаку с жесткой шерстью. Она заворчала, а снаружи уже стояла черная собака. Душа его всколыхнулась, вскипела беспричинным гневом и усугубляющей гнев неловкостью; с трудом выгнал белую собаку. Дальше все пошло по-прежнему.

Он рассказал, она машинально, зябко натянула край простыни на холмик открытой, теплой со сна груди, покраснела, хотя трудно было покраснеть без того розовым со сна щекам. А чуть позже, одеваясь и разглаживая на лодыжках нерастянувшиеся на сгибах колготки, а потому глядя в пол, не на него, как бы вскользь сказала, что черная собака во сне к добру, белая — прошлое зло, неприятность. И еще позже, мимоходом, торопясь не опоздать на работу — день был будний — спросила:

— Та твоя знакомая... ты, конечно, не можешь никак в связи со мной этого помнить, а я... прошлой весной почему-то обратила: ты с ней был на концерте «Арсенала», помнишь? Блондинка... Недавно видела ее в универмаге на Красногвардейском с высоким таким парнем, чернявым, на спортсмена похож.

— Да-да, старая знакомая, едва не со школы (— А про себя: ну и ну! Пойми их? И в глазах ласка, победа за ней, а уколоть, хотя бы против желения, но уколеть: с высоким таким!..). Ревнуешь?

— Вопрос твой не лишен изрядной доли глупости,— иронично, под газетную интонацию, ответила она, надула по-детски щеки, рассмеялась, протянула губы к его губам, принимая, репетируя каждое его движение уже ненужных изинительных жестов.

Расставшись — ей налево, ему направо, полчаса ходьбы — он напыщенно почувствовал себя провидцем, ясновидцем, даже — дальновидцем, в довершение всего — величайшим аналитиком-сновидцем. Как же любимые женщины умело подыгрывают нашему самомнению? ...И отогнал кольнувшую посреди этого парада самолюбования мысль: может это ей я внушил рассказом, направленной интонацией, например? Но нет — нелегко отдавать незаслуженные лавры — конечно, сон его вещей, истину-то правильно предрекал.

Он так хотел и так было: она подтвердила. Не захотел припомнить, что за день до вещего сна посмотрел мимоходом на телеэкран с эпизодом детского фильма о говорящей собаке (— Дай лапу? — На! — хрипло, как уставший водопроводчик, ответил большой сенбернар и дал лапу...), а в гастрономе, куда заходил по пути домой, по вечерам дежурил подачку, вертелся у очереди под ногами бродячий поддельный фоксик, однажды на потеху соскучившимся в трехчасовом колбасном страдании покупателям, сцепившийся с заведенной туда же хозяйской болонкой.

Двойная шутка сна и памяти.

◆ — *Mea culpa, mea culpa!* — Моя вина, моя!.. Ты считаешь, что женщине пристало, не идет подурачиться?

— Но не в этом дело, он и есть обыкновенный мерзавец, вина природы, не твоя: ты только познакомил меня с ним, а природа его породила... Тавтология? Может быть, на сей раз: моя вина. Виновная. Виноватый. Море вины. «Море подвигов Рамы». Море вин'а?.. Через дым прокуренного ресторанный зала: в красном углу вместо иконы некоего святого, склонного к употреблению — ведь наверняка в святцах есть такой? — приклеена восьмью лоскутами розовой липкой ленты прямоугольная табличка из инженерного ватмана со стилизованной под устав надписью: «БОЯН». А под липовой бумажкой дудел, барабанил, дубасил по клавишам, выдувал через трубы — серебряные, медные, латунные, дудочно-черные — запьянцовский оркестрик второразрядного рестораника (Жуков в свое время издал приказ: офицерам не посещать увеселительные заведения ниже второго разряда).

— Вас приветствует вокально-инструментальная группа «Боян»! Начинаем вечер эстрадно-танцевальной музыки, приятного вам отдыха!

Кремовые брюки, иссиня-фиолетовые пиджаки. Опохмеляются после каждой пары в буфете и за столиком, где сидят, тесно сдвинувшись, шестеро в хаки с погонами. Звездчатыми. Капитаны, старлей, прапорщик-грузин, естественно в усах, все почему-то в полевой форме. Копия формы русской армии времен первой мировой войны. — Возвращение к эстетике от нелепых, стискивающих горло кителей Народно-освободительной армии Китая (тож Камбоджи, Северной Кореи и, кажется, Лаоса?); впрочем, и там возвратились... И изобретение генерала Галифэ. Галифакс? — Город. Городская клоака по вечерам. Курят 98 % сидящих в зале, а не курят из сидящих там же только двое. Всего значит около... Танцующие: симбиоз рока и кантри-барыни. Кавказец, торгующий днем персиками на городском рынке, сегодня в большом барыше. Или видную из себя проститутку по дешевке снял? — От удачи раскошелится скупердьяй на купюру, заказал даргинскую лезгинку; под нее свистопляшут. Стиль Монпарнаса на берегу Свири. Свирель и кумыкские пляски. Выражение лиц сидящих в зале базарных джигитов, военных и из компании загулявших спортсменов-рекордистов — прямо по адресу: не встающие весь вечер из-за столов, экономящие силы для аккордной ночной работы, знающие себе (каждая себе) цену, презирающие

всю эту мелкотню вокруг, дородные, груботесанные ломовые — спецобслуживание рыночных кавказцев — проститутки; начинающие полупроститутки, тридцатилетние бабы для обслуживания офицерско-прапорщицкого состава вооруженных сил; веселящиеся в своем бабьем кругу, вспотевшие от плясок в своих мясах и дорогих тяжелых одеждах торговки из супермаркета «Гастроном», празднующие девшишник своей подруги, выходящей замуж за полицейского сержанта; глупенькие девушки из предместья, танцующие бдительно, с выбором партнеров, неведомо как залетевшие сюда в поисках приключений — всех вас к полуночи снимет компания отдыхающих фарцовщиков, использует по кругу и по назначению, заразит триппером; пьяная двадцатилетняя кладовщица с турбинного завода, которой осталось всего полгода до алкогольной лечебницы, с двумя случайными цыганами заигрывающая обиду — прямо из райсуда, где ее лишили материнских прав; две интеллигентные тридцатитрехлетние инженерши из НИИ за неизменной бутылкой шампанского, отмахивающиеся от назойливых приставаний, чего-то ждущие, ждущие... уже тридцать три года; мельтешащие тут и там стройные официантки — все в одинаковых муаровых колготках, — все поденщина для психологического обозрения. «Психологические типы». Модно... Мода обнажена и сокрыта одновременно, а направлена к наиболее четкому проявлению одного эффекта: древнего как мир завлечения подчеркиванием совершенных форм, маскировкой недо- и переразвития.

Эффект вина и направленной женской близости. Сверхчувствительность с ослаблением торможения. Объект влюбленности. Пьяная влюбчивость. — Одинаковое воздействие на него, на нее.

◆ — Наклони голову, а то за этими барабанами ничего не услышишь. Ты любишь меня?

— Так сильно сомневаешься?

— Только вопрос. Нет, не сомневаюсь, просто хочу услышать от тебя, твой голос... вот сейчас хочу услышать.

— Люблю, моя милая, немного пьяная, ну... самую чуть-чуть, люблю, моя глазастенькая, ушастенькая...

Кровь прилила к щекам, лбу, ушам. Губы вздрагивали, касаясь ее волос, шелковистых трав. Теплое ушко — он лизнул как теленок. Захрустело: его ладони до нечувствительной боли ждали ее запястья. У нее крамольная, все выдающая постороннему взгляду покорная истома. В тот миг был он слепым и зрячим, глухим и слышащим, вовсе без чувств тех и других, но обоняющим тонкий аромат замаскированного в искусственные запахи женского тела, осязающим эту поросль еще не прореженной ничего не щадящим временем шелковой травы, теплоту, гладкость матовой кожи, на каждом квадратном миллиметре которой пульсировали тоненькие, но явственно осязаемые губами синенькие прожилки. Ток крови. Тело, запахи, слова, ткань, трава шелковая, ушко теплое, кожа матовая, пульсирующие жилки, завитки волос сразу за мочкой уха, руки горячие — все есть оттождествляющий образ. Не все ли равно в ком этот образ объективировался: в ней, в той, в Жанне, в Нине, в Елене?.. В Семирамире!

Пр о ч ь!

Пр о ч ь!

Пр о ч ь! Прочь, крамола мысли, я ее люблю... но ведь и правда?

...Сладость, истома, близость тела. Танец.— Оцивилизованная форма завлекающей игры самца с самкой, двух начал одной любви: высокое и простое в естественном, чудо и привычка, абсорбция обыденности, когда желание, нежность, страсть, чувственность, любовь души и плотская любовь тела разлиты по каждой клеточке —

от спинного мозга до головного, залезли в пятки и в гайморовую полость.— Анатомические перечисления. «Анатомия любви». Польский кинематограф в упадке, сами признают. В подобные минуты ты — не ты и не ты с ней, а твоя проекция в кино на экране. Эскиз — вот нужное слово: *«Эскизя страсть в корректном кавалере...»* Прочь, крамола! Только ты! «Только любовь!» Только она одна единая, сущая. Но полно ли? — Наверное, так являлись Фаусту и Леверкюну бесы-искусители, сурово-правдивые реалисты бытия. Ведь нельзя же в самом деле заменить Ее вон той девицей с блудливо-блеклыми глазками?! (...Тупой вид сидящего напротив здоровяка — разругавшегося насмерть со сварливой женой парикмахера женского салона раззадорил ее, она встала и, потряхивая слежалыми бедрами, пошла с ним в танец. Жирные и худые, продавленные часто сменяющимися любовниками тела источали пот, пьяную страсть).

Это крик отчаяния, собственного неверия, когда от умозаключений переходишь к спекулятивному «а если бы?» От уверенности александрийского стиха (*«Если б я был твоим рабом последним, сидел бы я в подземелье, и видел бы раз в год или два года золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь, и стал бы счастливей всех живущих в Египте.»*) к скачущей неуверенности холерического хоря:

*«Как гоночный грузовиков между,  
Мой любовник мужчин среди.  
Мной и полночью восславленный трижды,  
Он упрямым любовью сердит».*

— Имитация тавтологии.

♦ И все-таки: почему ее взгляд мутнеет... да, другого слова не подберешь. Мутнеет, когда я все настойчивее, настойчивее возвращаюсь к запретной теме: о том... ублюдке? Слова и глаза у женщин — нет более противоречивых ответов. И чему верить? — Ей, конечно. И не верить нельзя: ей. А может... нет-нет, скорее всего его сомнение есть сомнение, неверие Ничейной Бабушки в существование электрического света. Сам он много раз клялся, тут же забывал о всем, искусно вероломствуя, а она терпеливо, не выдавая себя даже взглядом, прощала. А сам он не то что простить не может — нечего ведь прощать?! — думать спокойно не способен, взращивает в голове всякий случайный зародыш слепого, ревнивого, бредового подозрения, даже не подозрения, а хвостик мелькнувшего в темноте фосфорического чертика.

С чем он может сравнить эту бьющуюся саму о себе мыслишку, раздуваемую до мыслы, до вседвлюющей Мысли? — Он рисует миллионы схем отношений, комбинировает в тщетных поисках Истины обрывки виденного, слышанного, додуманного, передуманного: ее взглядов, реакции глаз, морщин, выражения лица, жеста рук, бесцельного постукивания носком туфли — обычные ответы на его хитросплетенные слова и фразы-тесты. Инквизиторские задатки есть в каждом, но с тем отличием, что профессионал-инквизитор был и есть раб идеи, а я, ты, мы — рабы случайности: случайного взгляда, случайного слова, случайной страсти. Море Случайностей, Он — кораблик в бушующем море; вздыбленно перемешивались слои зеленые, синие, голубые. До самых черных глубин донесли раскаты разламывающихся валов, рвет шелковистую морскую траву в отчаянии юной страсти ветер. Оба страстны: ветер и она. Ее шелковая трава относится ветром, забивается ему в рот, нос, уши, глаза, щека щеки, лоб, уши, шею, треугольник освобожденной расстегнутой верхней пуговицей рубашкой. На весеннем ветру в полночь. Исчезли, разлетелись, как бы их не было вовсе, грохочущий оркестрик второразрядного гостиничного ресторана, пья-

ные, всегда готовые идти в любовую на «Берлин» и на «Пекин» интендантские капитаны, старлей, прапорщик-грузин в полевых формах (дома сказали женам, что срочно вызвали на суточные маневры, потому и надели полевые...) восстановленного через полсотни лет образца — поиск новых эстетических норм, а в этом поиске рано или поздно набредают на давно известное. Так работает фирма Диора. Эстетика, как и нравственность, как любовь — вечный, неизменный невечерний свет отдыхающего человека: от войн, от пульсирующего шума улиц, от заводской копоти, от одного лишь вида станка, к которому привязан на всю жизнь заботой о куске хлеба, от лая начальника, от подозрительных взглядов — для пущей важности — милицейских сержантов, полуротой толпящихся весь вечер в вестибюле ресторана, от продуманного иезуитства машины субординации, от мошенничества в торговле разумом, чувствами. С веселой песней родного аула, кривые улочки которого помнят еще Шамиля и Ермолова, уводили проституток кавказцы, временами замолкая, втихомолку ощупывая карманы с бумажниками. Аллах акбар!

— Ты понимаешь, что меня волнует?

— Конечно, милый!

Один ее поцелуй на фоне всей этой растекающейся человеческой грязи, детства разума, простого недомыслия стоит миллиона часов его гнилых бесплодных рассуждений, ибо касание теплых губ все затмевает. Затмевает? — Нет, это он им затмевает обыденную доуку. В любви наше спасение. «Только любовь!» Вечная регенерация. Как прекрасны ее губы, овал маленькой груди, вздрагивающей под локтем правой его руки, ее расправляющиеся на двадцать втором году жизни плечи, волосы — шелковая трава свежего морского запаха. Наслаждение мое — войди в меня, останься во мне!?

— Да...

Ее ответ, мой ответ. Только любовь! Его? Ее?

Прищурив калмыцкие глаза, сплюнув изжеванную сигарету, обвешанный снаряжением сержант у входа долго-долго посмотрел на них, что-то сказал напарнику. Оба взгоготнули. Он сжал бессильные в такой ситуации кулаки, вспомнились слова соседа-политэкономиста: «Все-таки и сейчас, в конце века, большинство окружающих нас людей находятся на уровне питекантропов». Синантропов тож, добавим мы.

♦ Поцелуй их... — «Поцелуй» Брынкуша; такие же приплюснуто-стиснутые губы, носы, щеки, лица. Плечи стиснуты до боли, грудью своей он вонзил в себя два горячих, бьющихся в такт сердцу холмика, что упругостью, овалом пронзили его ребра, обложили, как в засаде, сердце его. Сердце трепещет, бьется, стиснутое сокровенными дарохранительницами изначального сока жизни. Теплые пульсирующие струйки: ма-а-а! ма-а-а! — Еще нет опыта жизни произнести слово целиком: мама! Они хранятся, ждут, ждут минуты пробудиться, и, чудесно воссоздавшись, перелиться в новую жизнь, бесконечно передаваемую друг от друга с неизвестных времен, когда древняя, косматая, дикая, но от того не менее любившая своего детеныша мама камнем отгоняла от пещеры голодную волчицу — самое тоже мать.

В тебе он любит тебя и неиссякаемую жизнь. Поцелуй — ключ, открывающий твоё тело, но сейчас, в это вечер, уже ключ символический, ибо тело твоё вкуче с душой отдано ему. Люби же её, люби! Что ты в ней любишь... Что ты в ней любишь? — Свет воплощенный, мечтами стольких-то тысяч дней и ночей выношенный образ.

— Теряются ли ощущения с годами? — подумал он, а к чему подумал? Она еще не проснулась в это утро, волосы запутались, затворили глаза; ее не смог разбудить пролившийся из правого верхнего угла окна солнечный луч. Он же проснулся и непонятно, не понято им самим почему-то подумал о временной зависимости ощущение-

ний. Не додумавшись ни до чего путного, вновь закрыл глаза, чувствуя тепло щеками и губами — чуть воспаленными, но обретшими сверхчувствительность, осторожно, почти очерчивая профиль долей миллиметра выше, провел ладонью. Она не почувствовала в крепком утреннем сне, груди ее трепетно не всколебались, но тепло изнутри ожгло ладонь. Теряются ли?.. Он вспомнил себя пятнадцатилетним: сразу после звонка, не успевшая еще «немка» Антонина Игоревна сообщить классу свое заключительное: «...*dieser Text zum nächsten Mal und... und? Also, auf Wiedersehen!*»\* — как его тайная, явная, самая первая любовь — сидевшая рядом девчонка в коричневом форменном платье привстала, перегнулась через парту к соседке впереди и.. его лежавшую на светлосиней полке парты ладонью вверх руку ожгло огнем. Она говорила, класс гомонил, упрекая Антонину Игоревну в непосильности домашних заданий, их объемности, трудоемкости и без того нелегкой последней четверти, но он не разбирал ни слова: упругое, неведомое доселе тяжело металось на его ладони, следуя ритму речи, выгибавшему грудную клетку. Она не заметила, встала, вышла из-за парты, а он остался сидеть оглушенный, ослепленный. Несколько дней горела огнем ладонь, огонь тот не забылся за прошедшие годы и годы... Почти что первый сильный удар чувственности; в те времена чувственность сдерживали до последних возрастных пределов, а школу свою в позднейших воспоминаниях иначе как гимназией не называли. Директорша в слезах рассказывала в учительской, что вчера, побывав в кино («Любовь по-итальянски»), заприметила там несколько десятиклассников... Были такие времена, да сгнули. Тысячу лет назад это было...

Сейчас же, усмехаясь с закрытыми глазами, он бережно, целомудренно хранил трепетное ощущение, вспоминая огонь, ожегший ладонь его и душу, проснувшуюся к любви, тяжелый трепет той маленькой, еще не оформившейся груди девочки-подростка, причем не нынешней пятнадцатилетней акселератки, которую только пустые глаза отличают от рожавшей уже женщины... — Теряются ли они? — И подумал:

— В первый раз это случайность, впоследствии только через чувства транспортируется образ: Ее. Господи! Как это прекрасно, замечательно четко осознается еще не в словесной, но в аморфной форме теплой, рассеянной со сна мысли... Мыслёте.

◆ Он плыл в океане желаний. Зеленые воды спокойны, отбегают от рук, лениво култыхающихся ног, возмущаясь необидно валиками зелено-бутылочного цвета, крупными, спокойными брызгами, нестойкой, мгновенно гаснущей пеной над гребешками изредка наталкивающихся друг на друга волн — упругих валиков: хлопья взбитого крема на щеках юнца, которому и брить-то нечего, только что узенькую полоску над губой и темноватую дорожку мягкой щетинки от ушей к подбородку.

Океан желаний был зелен. Всякое желание воплощалось в зеленой воде, не слоистой теперь, зеленой — перемешанный неумелой хозяйкой в один цвет воздушный пирог. Ей не удалось. Ему все удастся в океане желаний; он не чувствовал веса тела. Океан желаний — единое сладострастное желание, растворенное в теле, растекшееся по рукам, ногам, животу — во всем океане юных вод надежды. Желание — надежда мечтания. Солнце стояло низко, высвечивало ему, плывущему, дорожку зеркально переливающегося золота. Ауреликум.— Римский золотой орел легиона. Тридцать легионов по всему свету, обозримому мыслью из вечного города. «Орби эт урби», — слова распятого, умирающего апостола Павла. Павликиане — смешное павлинье название. Павлины, о которых он думать не помышлял, зашелестели распущенными хвостами: а могут ли летать глупые, раззолоченные птицы? Они летали над его головой, над золотистой, жидкого золота дорожкой подстветки в океане желаний.

---

\* «...этот текст к следующему разу и... и? Впрочем, до свидания!» (нем.)

В безбрежном океане не за что зацепиться глазу, поэтому все мысли — воспоминание, поиски, раскопки в памяти. Право на память — символ нынешнего либерализма в полудозволенных рамках. Взорванный храм Христа-Спасителя: происки мирового сионизма или отголоски революционного анархо-космополитизма (спустя немного времени даже изменят ГОСТ на «булку французскую» с тем, чтобы она именовалась «булкой городской» — в целях борьбы с космополитизмом...)? В 1905 году в Москве была издана книга Сергея Нилуса «Великое в малом. Антихрист как близкая политическая реальность», в которой говорилось, что двенадцать колен Израилевых, с умыслом рассеянных в древности по белу свету, уже выполнили свою задачу, готовы воссоединиться — вот-вот пройдет их всемирный шабаш, они объединятся, двинутся на мир в решающий бой золотом и мечом под знаменем Антихриста... Шутки шутками, хотя сам Нилус был черносотенец серьезный, шуток не допускал, но пророчества гениев предвидения очень часто сбываются.

...Нет, скорее безалаберность к исторической памяти своего народа и наплевательское отношение к накопленным им духовным и вещественно-материальным (не в продажном смысле, не в отношении того, что можно украсть, например), свойственное скороспелым Начальникам — из грязи в князи! — разрушило храм Христа-Спасителя. И ни в чем ином не проявилось это несознаваемое Ими глумление над памятью Родины, как в восторгах дикаря перед вертящейся, сверкающей железкой, в малоумном меркантилизме новых Начальников, неизбежных болезненных порождений всякого коренного социального сдвига: ценности храма перед его уничтожением были проданы за границу, проданы не за изделия передовой, столь нужной стране технологии, что хотя бы объясняло, но, разумеется, не извиняло это деяние, нет в Германии были закуплены колбасорезательные машинки, которые хорошо помнят москвичи тридцатых годов. Приходишь в гастроном и — при тогдашней нищете и голоде: чик-чирик, вот тебе отвешено двести грамм порезанной аккуратными ломтиками колбасы. Красота! А?

Память, память... Он проснулся засветло. Мать, уходя на работу, не выключила на кухне динамик; из него несся такой чистый, торжественный, радостный голос под-Левитана, что он испугался: опять повышение цен?! Однако речь шла о новом постановлении партии и правительства по интенсификации разведения лесного ореха — прямого заменителя мяса. Последнее развести уже отчаялись. После лже-Левитана, но теперь — местный диктор сообщил, что на днях состоится юбилей Т-го вытрезвителя, основанного в 1929 году по инициативе городского антиалкогольного общества. Радостное событие будет отмечено торжественным собранием, массовым гулянием в городском парке культуры и отдыха им. Отто Юльевича Шмидта и «Дн е м о т к р ы т ы х д в е р е й». На дворе стоял тот год, когда на прилавке любого съестного магазина редко можно было увидеть менее пяти сортов «червивки»; привиделась дикая картина: из подворотни ломбарда выплыли четверо крупных девиц в париках и пестрых французских колготках; они только что заложили свою честь.

...Он плыл в невесомости блаженства, какого не испытывал даже с н е й, хотя с н е й трудно было представить блаженство большее: какое блаженство больше любви? Все блаженства ведут к ней. Страсть испепеляется с ней, вдвоем, изливается негой, отрадой, сладкой истомой свершившихся желаний.

Он доплыл до острова посреди океана желаний. То был остров неги и покоя. Он обсох, лежал теперь на зеленых, мягких, шелковистых травах. Солнце шадяще, нежарко светило и грело. Пятки ног зарылись в теплый песок, бесшумно набегавшие на берег морщины океана щекотали кожу ступней.

Он задремал, затем поднялся, со стоном отрываясь от ласки шелковистой травы, пошел мимо низких, почти игрушечных деревьев. И снова лег посредине острова.

Тишина — он был един в целом мире, затопленном округ земной основы океаном желаний: выстраданных, истомленных, достигнутых, познанных. Блаженство становилось невыносимым. Великая любовь свивала судорогой, истекала с рук, губ, всего тела. Дарилось океану желаний и острову посреди его воплощенное совершенство исполненных желаний. Распластавшись, припав к теплой земле, он целовал ее, ласкал ладонями раскинутых рук. Он любил ее, любив в ней свое блаженство, невысказываемое счастье...

Он проснулся сегодня один в такое сказочное летнее утро с ласкающими лучами восходящего к небу солнца, что никакие мысли об утраченных ощущениях не приходили, как вчера, в голову. Он жмурил глаза, как изласканный теплом кот: пушистый, добрый, сытый — главное. Нежился в теплой постели, никак не мог отпустить его от себя сладчайший, волшебный в простоте своей сон. Только с большим трудом, пугая себя словом «работа», сумел оторвать тело от простыни. Но очарование сна весь день сомнамбулировало его, не отпуская до вечера, когда вновь увидел ее.

♦ Чтобы увидеть, достаточно было, выйдя из проходных, спуститься за десять минут вниз по центральной улице и повстречать ее, ждущую, на предконечном перекрестке. Он вышел, покачиваясь от томления волшебного предутреннего сна, сохранившего свои прозрачные перепончатые крылья летучей мыши ночи на весь день рабочей сутолоки. Опустившееся к блаженству новой ночи, солнце снизу, с торца улицы, широкой в своем растворе, теплило его лицо; весь день, вся последующая жизнь казались продолжением сна о волшебном острове посреди зеленого океана желаний.

Мягкий, самую чуть сдобренный бензиновой аэрозолью воздух тихого предвечерья ласкал извращенное обоняние обычного горожанина, предвещал тихий, теплый вечер с неясной мелодией темнеющего городского неспокоя. Воздух уже не звенел, как днем, не кричал, как утром — он не молчал еще, но более не тревожил: наступающий вечер бензиновой летучей мыши. Бесшумной... как «Мерседес-Бенц-250». — Столичная полиция: «моя милиция меня бережет...» на западногерманском автомобиле надежнее. Желтое солнце. Не хватает синего цвета, ультрамарина — бензиновые пары поглощают ультрафиолет. Девушка в синем платье с синей же сумкой. Высокая, стройная, упитанная в нужную меру: выросший побег племени 70-х годов. Прическа и губы, бедра, лодыжки, приятная на взгляд (двадцатилетних), наощупь (сорокалетних) полнота бедер, прикрытая ниспадающими прямо с плечей полосками летней вязки негреющей шерсти тонкой выделки. Мерное, возбуждающее вздрагивание в двойной такт шагу: мода хипповки на совершенно отечественной натуре. Женщины берут все ото всего для чар своих: удачное в себе показать, неудачное — закрыть, замаскировать. У нее, в синем, бюст удачно вылеплен, впрочем, как все тело. Жаркий день без того щекочет чувственность, но что ему делать? — Природа не обошла его, в полной мере залила сосуд влечения медицинским, аптекарским гормоном. Так что же? — проклинать свою природу за то, что взгляд помимо воли и избранного пути, устремленных к Ней, локатором вертится на встречаемых в синем, желтом, голубом — расцветки лета, в горошек крупный и мелкий, в шотландке, в одноцветье, в пестротканном — в этот жаркий день до гиперболичности совлекающих с себя, бросающих навстречу тебе, вам, миру мужчин свой эфир влечения? «Скорее обнажает, чем скрывает». — Одежда, выбранная с великим женским умом соблазна. Камознс? — У них Тижу, на наших картах — Тахо. Еще есть Гвадалквивир; трудно выговаривается, легко течет. Течет, звенит, сверкает. А вот Хуанхе и Янцзы, в силу неких ассоциаций, еще с давних школьных лет не сверкают, не звенят, а мутно перекатываются в ядовитом тумане (В тот миг он, конечно, понятия не имел, что в квар-

тире № 67 дома, мимо которого шел, шестидесятилетний патриот-филателист, до-нельзя пораженный появлением после долгого перерыва в продаже китайской ту-шенки, великолепных по виду консервированных сосисок, бил себя в лоб кулаком, вспоминая, как двадцать лет тому назад он заперся от жены и детей в ванной, выни-мал из кармашек кляссеров, рвал на червертушки марки с портретами Мао на фоне красных знамен, площади Тяньаньминь и восторженных толп навеки освобожденного народа Поднебесной. Неприятно кольнул его вид советской четырехкопеечной марки выпуска 1959 года «10-летие дружбы советских и китайских студентов». Филателист сам у истоков дружбы состоял в студентах Горного института (тогда горняки носили шегольские мундирчики с погонами), учился в смешанной группе. «Ниньхао! Вомэнь ю сюеси дисюндэ гоцзя. Вомэнь хэнь цзяохао чэньюань. Дигочжуи — чжаньчжэнь, чжиминьчжуи, сыван. Шжэхуйжуи — баовэй хэпин доучжэн, юи, дули, цзыю, цай-цзюнь. Сесе нинь нимэньдэжэньминь, сесе нинь Мао Цзедун тунчжимэнь! Цайд-зянь!»\*

Филателисту было стыдно за свою поспешность — в коллекции остался замет-ный пробел. До этого только два раза в жизни ему было жгуче стыдно; первый раз, когда он хвастался в пивной, что его старший брат — майор космических войск из отряда космонавтов, второй, когда увлекся было писанием, напечатал рассказ в мест-ной газете, а потом с гордостью кретина совал всем под нос газету того же названия с рецензией на свой опус: в той рецензии он был назван... эпигоном Дмитрия Наркисо-вича Мамина-Сибиряка.

Филателист подошел к окну, выходившему на проспект; в конце февраля он лю-бил часами смотреть отсюда, как бойцовые вороны чистят в слезалом снегу поодаль тротуара свои клювы перед дракой, но теперь же он хмуро взглянул на парня, разго-варивающего с девушкой).

— Извините, молодой человек, пятый номер здесь останавливается?

— Смотрите для кого... Для вас — всегда! Я серьезно: останавливается.

Смешинка щекотала горло, а скорее всего его шибануло феноменологическим ду-хом политуры, когда он проходил, сворачивая на проспект, мимо заготовительной кон-торы, что напротив Центрального родильного дома. «Имя тебе — потребитель!» — гласил лозунг на фронто-не конторы; там происходила отчетно-перевыборная конфе-ренция потребкооперации. Иронию кооператоров вызвало сообщение сторожа конторы о происходящей в настоящий момент битве народов при мясо-колбасном отделе гас-тронома на углу Энгельса и Дюринговской. У них свои проблемы.

Приятное, свежее личико: студентка? Школьница? — Черт их сейчас, да еще ле-том, разберет. Она — внимательно, нарочито строго смотрит. Рассмеялись вместе — ясно, что студентка, школьница та поопасается рассмеяться вместе с незнакомым мужчиной. В импортном пакете, рисунок которого рекламирует противозачаточный контрацептив фирмы «Silver dollar» (Ясно, девчушка еще не сообразительная, но ма-маша-то не слишком древняя, могла бы подсказать чаду, что пакетик такой носить по улицам малоприлично, хотя он и выпущен под эгидой ЮНИСЕФ...), что-то угады-ваемое как ноты. И еще двое пробежали с нотами. Боже, откуда в их пролетарском городе столько музыкантов? — Неужели подпольную консерватория на Кривой горе открыли при асбоцементном заводе?

Значит, студентка. Черт-тте... преприятненькая, очаровать, утешить и обласкать; он мысленно, гусарским вывертом подкрутил несбыточные пушистые усы. И тут же,

---

\* «Здравствуйте! Мы учимся в братской стране. Мы очень дружим с вашим народом-братом. Мы — коммунисты, члены молодежной организации. Имперализм — это война, колониализм, смерть. Социализм — борьба за мир, дружба, независимость, свобода и разоружение. Спасибо вашему народу, спасибо товарищу Мао Цзедуну. До свидания!» (кит.).

притопнув ногой, приказал себе выбросить из головы: и ее, и ту в синем, даже незаметно, детским жестом пристукнул себя костяшкой согнутого указательного пальца по лбу. — Ты же не похотливое животное, ты ведь любишь... А кого? — Ее, ее, ее... ее. Не смотри, не смотри, н е с м о т р и!! ... на ноги, на бедра, на плечи, на волосы, на губы с улыбками, на туфли с изящно вывернутыми ступнями, с лодыжками вписанных в них ног, на всю их символическую одежду обнажения. Не смотри, не смотри...

Ему стало стыдно. Жест — костяшкой по лбу — все напомнил; стыд детства, когда засмотревшись в автобусе или трамвае на красивую молодую женщину, он вдруг был сшибаем, уничтожаем до онемения рук, ног ее ответным, прозрачным, насмешливым взглядом, тотчас отбил желание вертеть головой по сторонам... и вовремя: иначе бы он сошел с ума, не дождавшись помощи Ее, при таком-то обилии умопомрачительных бедер... бюстов... О, господи! Грешен. — Он покраснел, опять вспомнив, как после детского греха взглядоблудия, отрезвленный прозрачным, насмешливым взглядом матерой красавицы, незаметно, отвернувшись, стучал себя по лбу костяшкой пальца, стыдясь мыслей, всего себя, повторял тихонько, чтобы никто не услышал: не смей! не смей! не смей больше!.. И не смел до следующего волнующего, наивного греха детства. Маленькая завистливая обезьянка.

Но все-таки на серьезный лад его настроило не мнемоническое детское правило, придуманное им когда-то, но прошедшая мимо, видимо с базара — сетка с помидорами, букет астр — давно знакомая в лицо девица лет под тридцать, во всяком случае точно не замужем, из соседнего с ним дома. Отрезвляющее действие на него она стала производить с прошлого лета и вот почему: до той поры она привлекала его взгляд недурным сложением. А главное, носила она еще не дошедшие в массовой моде до их города кружевные темные колготки (из Югославии привезли три пары — подслушал он как-то в трамвае ее разговор с подругой), подчеркнутые для обозрения глубоким разрезом юбки, а также элегантнейшие кофточки. Однако в прошлый август, встретив ее, как обычно в трамвае, он несказанно поразился: стандартная кофточка блеклого цвета, колготки — из галантерейной лавки, но самое удивительное — присмотревшись, он обнаружил, что фабричный глубокий разрез знакомой юбки сантиметров на пятнадцать укорочен вручную, это по фактуре было хорошо заметно. Замуж вышла? — Кольца нет, да никаких других изменений, что непременно возникают при замужестве староватой девицы... Но тут она, пропуская толстую бабку, обернулась; он все понял: в положенном месте на кофточке был пришит знак депутата районного совета.

...Почувствовав смятение в разговаривавшем с ней взрослом парне, девушка с медицинским пакетом вновь посерьезнела, чуть отошла за афишную тумбу, но все-таки оставив интересного собеседника в поле зрения. Так стояли они еще две минуты, не теряя друг друга, но и наблюдая жизнь вокруг. Вот так же, не отрывая в мыслях глаз друг от друга, кот и кошка на крыше все же находят возможность любоваться миром за печной трубой, исхитряясь для этого смотреть глазами в разные стороны. Современная жизнь человека, весь современный мир на грани выстрела, но тут же любованию чудесами природы, а самое чудесное в природе — зарождение взаимного влечения. Им было грустно.

◆ Любовь суеверна. Помогая ей, пропустим этот раздел.

◆ Он увидел ее за полквартила вверх подпрыгивающих в такт ходьбы голов, нистекающих вместе с вечерним бензиновым маревом к основанию улицы, полого прочерченной по гибкой, отсвечивающей тусклым селедочным серебром линейке, прижатой тремя пальцами к кривизне городского холма, толпы. В трех этих касани-

ях — у основания холма, на середине склона, у вершины — земля прогнулась под пальцами гиганта-градостроителя времен Екатерины Второй, и улица отдыхала от крутого взбега на горизонтальных площадках: местах, засыпанных от крутого взбега; на горизонтальной площадке стоял дом, с давних пор известный всем юмористам города... Случилось в Бухаресте землетрясение, а до города Т. оно докатилось слабыми, но ощутимыми колебаниями в 22.45 четвертого марта 1977 года. Коллега по работе Серега Хазов, задумчиво лежавший в пожизненном ожидании прибавки жалования на диване перед только что выключенным телевизором — фильма по второй не было, ему наскучило наблюдать пиджаки с двумя, тремя, четырьмя... золотыми звездами — и внезапно ощутил, как диван в мелкой тряске, ошупью стал подвигаться по гладкому, свежевывкрашенному купленной у ханыг «комбайновой» краской. Крайне заинтересованный, Серега вышел на площадку своего девятого этажа, застал там одетую лишь в ночную рубашку, горько плачущую соседку Розу Зейдовну Альтшулер:

— Сереженька, что случилось, что случилось! Муж бросил, совсем с ума сошел, к любовнице старый убежал... накинул пальто на белье и убежал... бросил!

Серега, сам ждавший с минуты на минуту возвращения жены с ребенком, ушедших проведать тещу, счел нужным, сказав несколько тихих, утешительных слов Розе Зейдовне, также накинуть куртку на спортивное трико и спуститься по лестнице во двор. В лифте не решился. Во дворе стояли мужики, а довольный актуальным происшествием Альтшулер, лектор-пенсционер городского общества «Знание», развивал перед ними новейшую теорию происхождения волнений земной тверди. Под небесами причитала в распахнутое окно его безутешная супруга. Корресподент местной газеты Узедников, живший на седьмом этаже, провел чуть позже дознание и пропечатал удивительный случай в отделе происшествий, благодаря чему прославил свой дом. В то время только такие происшествия печатались в газетах; с более печальными исходами происшествий не случалось. А может оно и к лучшему.

...Она стояла на нижней площадке у самого начала дуги тополей, под которыми, покрытые пухом, сидели на скамейках ранние парочки. Они еще не целовались, но глаза сверкали в предчувствии вечера, влажно перекрещивались взгляды, губы отдували бесконечно падавший тополиный пух — кошмар для дворников и берегущих от моли накопленное ковровое, пуховое, шерстяное сокровище хозяек. Дать им волю, так первым делом выжгли бы они с корневищами тополя по всему городу, лучше же — по всей Вселенной. Вторым делом они потребовали у кого следует уравнивать их, домохозяек, в правах с юными девчушками, вечер и начало ночи проводящими в безмятежной, не отягченной свекровьями, квартирными вопросами, пеленками, малой зарплатой мужа любви... Женская непоследовательность: моль, тучнеющая от тополиного пуха, — большой враг прелестей жизни, нежели затягивающая, скучнеющая день ото дня домашняя комедия любви, начатой когда-то под этими самыми тополями, медовый запах которых сводил их, шестнадцатилетних, с ума, глупые глазки! Они не видели ничего, кроме алых, припухших от нескончаемых поцелуев юношеских, почти мальчишеских губ; руки, закинутае за его спину, неумело ласкали жесткие, ершистые волосы — выведенный лесной покров нынешних городских лесов. Уши только его голос и слышали, а в ломком голосе — еле сдерживаемая страсть, что вливалась в нее непривычными, ласковыми, невесть в каком словаре отысканными словами. Страсть, истекающая терпкой сладостью бесконечных поцелуев, в прикосновениях ласковых теплых рук — закончилась же потрясающим до рыданий блаженством взрыва юной, еще не опосредованной бесконечными повторами, деловитостью околотюбовной санитарии страсти, в великом счастье первого для них обоих соития. Мир погибал для них: двоецарствие под зеленым, пушистым деревом позна-

ния любви. Змей, уютно возлежал на самой толстой нижней ветви тополя, протягивал ей красное румяное яблоко. Она-Ева: ты мой Гай, я — твоя Гая. Он-Адам: ты моя Гая, я — твоей Гай!

◆ Он миновал последнее людное место у троллейбусной остановки, затем обогнул толпу в два десятка человек, враз вышедших из дверей рыбного магазина — что их там собрало? Селедка в жару: расплзшаяся в ржавом рассоле коричнево-серая мерзость, прахом рассыпающаяся в соляном перенасыщенном растворе плоть, продернутая частым гребешком тонкокостного рыбьего скелета...

Она ждала его, сойдя с трамвая, на углу, отстранившись от косо срубленного угла здания с дверью уже не в рыбный, но в гастрономический магазин. Бывшая булочная знаменитого в старой Т. Пармена Колоколина. «Выиграл Пармешка — подешевела коврейка!» Истовый черносотенец, со своими приказчиками подавивший в девятьсот пятом году стачку железнодорожников, пропустивший в восставшую Москву карателей, Пармен с природным наитием жонглировал кнуттом и пряником; будучи страстным игроком на бегах, он при каждом крупном выигрыше сбавлял на определенный срок копейку или грош с ковриги хлеба своей пекарни. Непрерываемая, извилистая ветвь истории: хороший знакомый нашего героя, внучатый племянник Пармена, осваивался с должностью юрисконсульта в новомодном кооперативе, расположенном в старом домике через квартал от бывшего своего разнузданного в страстях деда...

Она стояла ближе угла в его сторону. Если бы она встала с другой стороны стесанного угла, то ее бы не было видно через головы непрерывной, обоюдодвижущейся туда-сюда очереди входящих, в ы х о д я щ и х п о к у п а т е л е й; смешное слово — в скольких ипостасях выступает каждый в течении дня; для всякой ситуации есть точный, смешной в отдельности своего восприятия термин: гражданин, товарищ, пассажир, клиент, больной, посетитель (покойный — тьфу, тьфу!), население, тот же покупатель. Покупатель счастья и полкило отдающего мылом сыра. Они закупывали водку мыльным сыром на четвертом бастионе; он — капитан, неродовитый, обижаемый гвардейскими поручиками и адъютантами. Севастополь в таком-то месяце... Чуть повыше очереди за мыльным сыром — дом, напротив — другой: там и там таблички, в этих домах бывал, даже служил великий очевидец закуски мыльным сыром на четвертом бастионе в Севастополе...

Бесконечное приближение к ней — апория Зенона от обратного: заяц замедляет свой бег до бесконечно малой скорости, до скорости догоняющей его черепахи. Вершина радости — в ближнем ожидании. Радостна даже не встреча, не любовь, не сама жизнь (столь суровая), но их ожидание, ожидание внутри себя любви и жизни полнокровной, порой искусственно затягиваемое. Так сам ход всемирной истории суть ожидание изобильных, творческих, бескровных эпох. История? — Смейся и плачь, хотя из истории бывшей ничего не выкинешь, как не выкинешь слов из песни; слова можно выкинуть только из гимна, но... как всякое исключение, это служит подтверждением правила. Юные пионеры жизни! Собирайте историческую макулатуру по-оду девизом: «На каждого мудреца довольно простоты!»

◆ Она увидела. И побежала, смешно топая высоченными каблуками туфель, ему навстречу, оставаясь на месте, ни на миллиметр не подвигаясь. Лицо ее вспыхнуло, погасло в двойном островке пунцовых пятен ямочек чуть удлиненного лица. Ликуй! Ликуй, Суламифь! Прочитанная взглядом ее глаз, таких больших на удлиненном худоватом лице, его жизнь, считанная во времени хоть немногих, но — десятков лет, свернувшись сухим пергаментом, дала ростки на скудной почве высушенных, истон-

ченных телячьих шкур миллионы раз переписанного палимпсеста; ростки эти дали в одну неполную весну с летом впридачу урожай дивных цветов любви. Цветы ли зла? Есть сходство в кошмарной дотошности воспроизведения любви и чумы любви. Есть! Порхающее зло. Порхиа — свинья! Но нет на этом очередном палимпсесте свинописания; ее чистый взгляд больших глаз осветил (освятил?) его лицо. — Любимый, ты такой странный?! — Милая, я — миллион первый на этом свитке и все равно свой собственный, то есть странный. Отстранение: и цветы любви, и цветы зла...

Любой из прошедшего миллиона был странный, даже некий маленький чиновник, почитатель Вагнера, что всю жизнь, начиная с тридцатилетнего возраста, копил тайне от жены деньги с тем, чтобы в день его похорон над свежесасыпанной могилой выписанный из столицы симфонический оркестр исполнил траурный марш из «Гибели богов». Мораль: каждый человек сам в себе бог, то есть — странный.

♦ Он встретил ее взгляд через чью-то прыгавшую в луче зрения голову. Теперь их разделяли только считанные шаги. Необъяснимое движение его души засветило остановившуюся во времени фотографию: она на ней осталась стоящей у стесанного угла дома. Засвеченная, серая, невзрачная, грустная и безличная, она воплотила в себе всемирную скуку существования. Этот серый, повторяющийся мир: потухшие глаза, тощие безжизненные ноги, висящие плетьюми руки, чахлая неразвитая грудь и стыдливо прикрываемые платицем несуществующие бедра. Повисли пепельные, спутавшиеся волосы, впалость живота отвращала мысль о животворящем начале любви к земле: плодоносящей, бурой, вздутой холмами и выпуклостями жирновспаханной земли под вечерним, искоса наблюдающим солнцем, подглядывающим из-за соседних домов за рекой, в вершке над горизонтом, в пепельно-голубой дымке тихого деревенского вечера. Невечерний свет...

Только любовь могла оживить неприглядную фотографию, напитать соки земли. Любви, воли, сладкой бездумной истомы отдавания себя под жернов животворящего начала. Под вечерним негреющим солнцем гладкая дорога подбежала к холму. По дороге и тоже к холму подбирался автомобиль; хрупкая, печальная, малокровная молодая женщина сидела рядом с мужем-водителем, задерганным суетой жизни худощавым интеллигентом в непрременных очках, трогательно дрожавших на испитом городским бензиновом воздухе, высохшем узком лице, неестественно удлиненном велюровой шляпой, под которой угадывалась головка тыковкой. Бледное, заморенное дитя отжившей свой золотой век рефлексии, воспитанности, долга перед всем на свете. При въезде на холм из густой травы поднялся здоровенный, бородатый под самый кадык, голый мужчина; он только что проснулся, встал с подмятой тяжелым телом травы и раззевался, потягиваясь, с хрустом расправляя мышцы рук, ног. Грудь волосата, необъятно широка, плоть призывна и напряжена. Изумление водителя передалось даже машине, она остановилась, а заплывшая краской жизни молодая женщина нырнула в дверцу, как кролик к удаву, смешно переставляя худые ножки ножницами в узкой юбке, на высоких каблуках, прямо к гиганту воли, забыв про мужа, про все свои воспитанные в поколениях качества. Он всю ее закрыл собою на заново примятой траве: тяжелое дыханье, торжествующий рык зверя и слабый, счастливый писк...

Она засветилась, выступив в негативной блеклости и необразности, засветилась под светом обрывков роскошных видений азийских пышностей торжествующей, цветущей плоти, поглощенных им в слишком большой сгущенности за несколько минут ходьбы до дома со скошенным углом, начиная с голубой телки с култыхающимися в такт шагам грудями. Сочный цвет грубого вожделения воспаленной чувствительности брызнул в глаза светобоящиеся, слишком светочувствительные.

Бледный ее негатив чуть вибрировал в чернеющей рамке сутолокодвигущейся

на стесанном углу магазинного дома толпы. Он вскрикнул себе вовнутрь, как после удара разгневанного толстяка в пижаме по крышке телевизора и он — телевизор — и она ждала его: улыбающаяся, милая, изящная в своем легком платьице, делающем похожей на тех школьниц, по вздрагивающим плечиками рукам которых еще час тому назад она чиркала острой железной щепкой, втирая в мельчайшие кровеносные сосудики подкожного слоя жидкость, изобретенную на благо благодарному человечеству докторами Манту или Пиркэ. Он улыбнулся мучительно, отогнав непрошенное грубое видение.

◆ Взгляд ее, прямой и короткий, гипнотизировал его, как нацеленный вороненый ствол нагана. В этот миг, сам гипнотизируя ее, он понял возможную сущность мирового процесса: любых двух людей на земном шаре, хотя бы отдаленно ведомых друг другу, связывает бесконечная по длине, но все же имеющая концевые отверстия четырехугольная труба с размерами стенок 0,6×1,0 метра, причем широкие стенки параллельны земной поверхности, а концевые отверстия находятся на уровне от середины груди до лба. У каждого из двух концевых отверстий стоит по одному человеку. Оба видят друг друга в трубу, несмотря на большое, разделяющее их расстояние, и целятся друг в друга из ружья или автомата, причем заряжены они особыми патронами: смотря по выбору пар людей, пули несут либо смерть, либо любовь, либо знание, презрение, голое половое влечение, дружбу, сотрудничество и т.п. Ноги же и руки людей прикованы цепями к трубе таким образом, что, имея некоторую свободу перемещения, они не могут полностью выйти за периметр (апертуру) отверстия, то есть никто из них не может оторваться от своего визави более чем одним глазом. И — тут ему опять-таки вспомнились кот с кошкой за печной трубой на крыше — не отрывая глаз друг от друга, они все же находят возможность любоваться миром за пределами трубы, исхитряясь для этого смотреть глазами в разные стороны: один обязательно в трубу, другой — на остальной мир.

Задел локтем проходивший мимо парень с болтающейся в руке японской магнитолой, дурак, тащущий с превеликим усердием свою звукописанную торбу. Голос диктора: «...отменены. Оргкомитет постановил не проводить в этом году европейского первенства в Давосе, ввиду прошлогоднего прецедента: отсутствия на трассе достаточного количества снега, так как и в эту зиму ожидается малое количество осадков...» Давос — волшебная гора. Неизлечимая чахотка человечества... ее тощая грудь.— Он остановился на пять секунд, пропуская выбегающую из магазина ватагу переростков. Чтобы переждать эти секунды с пользой, достал сигареты, прикурил, заслоняя по-привычке от несуществующего ветра спичку, бросил косой взгляд влево в огромное окно-витрину магазина радиотоваров, из которого выкатились, преграждая дорогу, переростки, жертвы звуковоспроизводящей мании. Вселожигающий мозги шум какофонирующих звуков: хэви металл. Какофония — своевременная ирония (от полифонии к двенадцатитоновой додекафонии — тавтология) над недописанной симфонией «А р о н и М о и с е й».

Двенадцатитоновая серийная техника, регенератствующий в модернизм серийной музыки композитор: умирающий император кормит соловья... не баснями. За толстым витринным стеклом без особого на то дела стоят молоденькие продавщицы. Было время оно, когда все продавщицы находились в одном, уже не стареющем возрасте: пятьдесят лет, — в саржевых темнокоричневых халатах. А теперь? И откуда они такие набираются: от пивных ларьков до «Автомозапчастей»? Уму это непостижимо... Взгляд помимо воли останавливается на затоваренных в бездефицитье юных сексбомбочках и сексбомбищах (последние постройнее, ростом повыше)... нет, скорее: секссестрицах. Овцы пасущиеся — двери хлопают.

«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит иным путем, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам: ему придверник открывает, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по именам и выводит их; и когда выводит своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его» (Иоанн, гл. 10, ст. 1—4).

Глаза, отвращая сознание, смотрят выписанную окном-стеной живую картину стада без пастыря (ибо директор уехал на базу спорткультурторга либо же для щекотливых переговоров с приличными людьми в «органах»), подумалось:

— С их молодостью высоченных (1 м 72 см ... 1 м 82 см) восемнадцатилетних акселераторок, распущенным по плечам, спинам гривам орехово-гнедого цвета, убранным на манер кобылок в свадебных валдайской тройке лентами у лба и двумя заколками-бубенцами за ушами;

— С их голосами-всхрапами (хотя не рожавшие еще, но с голосами низкими от употребления сверхдефицитных гормональных пилюль) молодых кобылиц, нервным пофиркиванием, резким вскидыванием головок с удлиненными лицами — покупателю: фпрр! А сзади, по спине всхлестывает грива густых надушенных волос...

— С их нетерпеливым постукиванием высоченными каблуками по плиточному магазинному полу, тонкой талией, пышно-упругими грудями (куда тебе вся Америка с патентованным парафином, силиконовыми инъекциями!), скорее обнажаемыми, чем скрывааемыми парадной витриной одеждой: декольтированной мохеровой тряпочкой, ниспадающей с плеч узкими полосками, обтекающей шею, открывающей округлые смуглые руки до самого основания плечей, где полоска нежных складок кожи у колючицы,

— С их обнаженными замысловатыми разрезами джинсовых, замшевых юбочек крупно-изящным, овальным в бедрах, круглыми, как кегли, в икрах, идеальной прямизны, бело-кремовой наготы ногами, подчеркнутыми тончайшими колготками и игривым, волнующими лекальным выгибом открытых туфель,

— С их терпкой смесью запахов духов, пудры, пота молодой плоти, струящихся при каждом вскоке, всхрапе, вскидывании головы,

— С их подсиненными веками — бесстыдным макияжем действительного или воображаемого сладострастного бессонья; в глазах горело, роптало на досадную задержку того часа, когда можно будет крупным аллюром или мелкой рысью проскакать через служебный выход и... — в парки, в подъезды, в постели, в квартиры и на квартиры, в темнеющий пригородный лес, в жаркие объятия мощного матерого мужчины, не первую сотню таких обнимающего, в робкие, скользкие от волнения руки ими уже научаемого юнца, в иронические, похотливые суховатые руки гурманосодержателя: завмага, отставного полковника, актера с подобранными усиками, некоего ответственного на служебной даче за трехметровым забором...

— С их табунными разговорами, табунным рвением в ожидающую их любовь, потом — в еще более страстно ожидаемое ими материнство. На геометрически правильно вычерченных плавными кривыми профилях, фасах и анфасах их упругих лон, животов, равнобедренных конусах грудей читались будущие дети: жеребята от сильного плотью, красивого, стройного, страстно обнимающего их сейчас, потом, вечером, ночью, ранним утром мужчины,

— И от этого видения завертелось в голове: для конногвардейцев возвращены, хотелось даже уточнить: для коней рощены, но, — убедил он себя, — будь человечнее: для конногвардейских поручиков возвращены; ведь остались же еще в мире кавалерийские войска, например, Канадская конная полиция?\*

---

\* Название государственной разведывательной службы Канады.

Приказав себе быть гуманистом, он с усилием оторвал взор от витринного окна, вновь посмотрел прямо перед собою — вдоль улицы.

◆ Он сразу поймал ее взгляд в размытой толпе; до нее оставалось уже на шаг меньше — всего-то несколько. Боковым зрением он машинально зафиксировал слева от себя, через улицу, исторический дом с несколькими памятными мраморными табличками, ныне здание коммунально-строительного техникума. История жила в его стенах: дальняя и ближняя; ближняя учила постигать быстропеременную относительность житейских ценностей: вчера по телевизору вновь назначенный медицинский министр грозился со следующего года, по достижении победы над пьянством, начать кампанию по борьбе с курильщиками, а он со школьных лет помнит большой жестяной рекламный щит на глухой торцевой стене исторического здания: «На сигареты я не сетую: сам курю и Вам советую!» — Тогда приручали народ к новомодным сигаретам; юнцы восторженно попыхивали «Джебелом», «Чайкой» и «Новостью» (ее курил и Брежнев); высокоставленные чиновники из числа слуг народа раскрывали шелестящие фольгой, с откидной крышкой коробки золотообрезных «Троек» и «Москвы»; конфузливо закуривали в провинциальных ресторанах болгарскую «Фемину» молодые ищущие женщины. Прекрасный был в первых сигаретах табак, но народ в массе не сдавался, дымил родным лагерным «Беломором». Беломор... Вереница людей в измызганных шляпах, потертых доцентских пальто с бархатными воротничками, годами иллюстрирующие решение школьной арифметической задачи: идут непрерывными колоннами друг навстречу другу с ведрами воды; правая колонна переносит ее из водоема «А» в водоем «Б», левая — наоборот. Пенитенциарная система перевоспитания... Но это уже по части отцов и дедов.

Итак, дымили «Беломором», поднимаясь вверх по проспекту, тогда еще с другим названием, заходили в пивные, густо обсевшие автостанцию, на фронте которой висел призыв: «Пейте пиво — жидкий хлеб!»

История-история, плачь и смейся. А нынче все стали такими умелыми по части иронии и скептицизма, что Салтыков-Щедрин, некогда управлявший губернским учреждением все в том же историческом доме, пожалуй бы не прошел на «бис» в наше время, ибо в эпоху модерна-умалчивания Салтыков показался бы слишком нерафинированным, слишком шумным, грубым примитивистом, неловким эпигоном Геннадия Хазанова. «Предстоящее упорядочение цен, в том числе и на продукты питания, диктует необходимость воспитания у советского человека скупуплезной бережливости и привычки к экономии». Все он прекрасно понимал: в строках и между строк, но в наивном его уме не укладывалось: а как в этом случае быть с украшением любого зверинца — слонами? Ведь огромную эту скотину не заставишь исключать из рациона потребные ему от природы углеводы, крахмал, клейковину, клетчатку, даже витамины?! А слон жрет много, в этом он случайно и достоверно убедился два года тому назад. Ехал в трамвае третьего номера, а напротив цирка в вагон с огромным мешком буханок хлеба человек влез непонятной кавказской наружности, из каких обычно состоит прислуга при зоопарках и зооцирках. Общительный служитель сразу вступил в разговор с заинтересовавшимся народом; вытирая густой пот со лба, неловко пристраивая мешок на задней площадке, он долго, смачно проклинал какого-то Гришку, которого три раз в день нужно кормить, а заодно полуматерно ругал он директора цирка, что не дает механической тяги, заставляя его, Ахмета, таскаться с четырехпудовым мешком через весь город. — Даже пятнадцать копек на трамвайный билет не даст! — сетовал Ахметка. Любопытные даже проехали свои остановки, чтобы разобраться поподробнее; оказывается при доставке для новой программы животных от железной дороги до цирка слон Григорий отчебучил незапланирован-

ный трюк: при крутом повороте машины с ведомым вагончиком возле автоколонны № 1135 он всей массой навалился на стенку, в результате чего стенка вагончика угрожающе перекосилась и рессора на задней оси полетела. Второй день шел ремонт вагончика, а слон — не вести же его по городу пешим порядком, не взимая денег за показ! — второй же день проживал в своей походной квартире, взыскивая со слуги Ахмета по три мешка хлеба в день... Всякое сильное сопутствует сильному же: сильное сердце — сильному телу, сильная воля — великому хамству.

...На миг ее взгляд исчез, погашенный прошагнувшим между ними типом в клетчатом пиджаке. Его прижатые уши, крупный нос всколыхнули в памяти упорно изгоняемое — уже сколько времени? — Что могло ее в нем не то что привлекать, нет, даже помыслить не решался об этом, — что ее в нем не могло полностью отвращать? — Хрипловатый, но командно поставленный голос. Наследственный. Тошая, скрюченная, как краб боком, угловатым изломом полета моли передвигающаяся зигзагами паршивая собака, грязного цвета волосы на тыквенной голове, воспитанная ехидность, ясно читаемое в глазах стремление хоть кому угодно, во что бы то ни стало, но подложить свинью; мерзкий, грязный ублюдок — порождение свиньи... Порхия! Воплощенная наглость, мерзкие словоиспражнения, и тут же лижет зад всякому, от кого хоть на мизинец, на ноготок будет, по его мысли опытного шахматиста, зависеть в будущем...

Таким нам кажется всякий соперник. И мы таким ему кажемся.

— Ублюдочная тварь, самое создание — определение твоей сущности: будь подонком для контраста! И не стоишь ты того, чтобы до извозчищьеи брани доходить. Брысь!

*God! Save the... God! Save the...\** Блеф словесной угрозы. Чем он лучше блефа мысли о незаслуженной собственной святости?

Тьфу!

...Базар души — физиологический аналог городского рынка: при малейшей панике цены на собственный продукт удваиваются... и так до успокоения. Феноменология: базарная цена зеленого лука — четыре рубля за килограмм, семь рублей стоят гранаты.

♦ Ты — мой Гай, я — твоя Гая! Омыты слезами отчаяния и гнева — его глаза поверх людских голов ласкали ее гладкие волосы, невысокий лоб, изящный профиль чуть-чуть крупноватого носа. — Прочь! Прочь! Проклятые ассоциации, провались! Сгинь от венериной напасти крупный нос, прижатые уши хама с сильной волей. Хам — землю пашет... С черта два он напашет, канцелярский просидень! Прочь!

...Взгляд его ласкал спутанные пронесшимся троллейбусным ветром волосы, ниспадавшие на плечи, спину. Не те жесткие гнедые волосы лежащих по казенному кафелю пола кобылиц, нет, нежные, мягкие, блестящие, не порченные химикатами — хамеленовской реакцией на сексуальные раздражения завлекательной моды.

Он увидел... неожиданно залился краской школьника; он четко рассмотрел через тонкую ткань пологие бугорки маленьких грудей, трепетные молочные бутоны с крохотными темно-шершавыми вершинами. Животворящие маленькие родники. Источник белой густой влаги — передача и перевоплощение жизни: от прошлого к грядущему. — Покраснел. Будто не он в опьяняющей страсти, в разлившейся по всему телу нежности ласкал губами, ладонями, щекой эти теплые, матово-коричневые, чуть шершавые от мельчайших морщинок бугорки неярких вулканов возбуждения свирепой в своей настойчивости, ласково-нежной в претворении страсти. Краска схлынула от тока поразившей его мысли: наслаждение, любовь в малой серенькой воробихе...

---

\* Боже! Спаси... Боже! Спаси... (англ.).

Летали гнедые хвосты и гривы кафельных кобылиц. Почти пророческая мысль? Но пророк в отечестве своем наблюдается двояко: либо оплеванный, либо исполняющий должность курителя фимиама при храме. Последний, как штатный работник, получает жалованье: не обязательно тридцать сребренников, может тридцать восхвалений себе в день.

Всего несколько шагов оставалось до нее.

◆ — Истинно, истинно я говорю вам... А мне сегодня виноград приснился: продавали на развале по шестнадцать копеек килограмм. Около овощного магазина в переулке им. Несбыточных Желаний.

— И не такой бред еще приснится: не ешь на ночь мяса!

— Тппрру! Тппрру! Стой: кобыла трамвай переехала!..

Тру-ля-ля, Тру-ля-ля! Вчера бабу в очереди за индийскими паласами в ковровом магазине насмерть ногами затоптали. Блеф! Звяк-як! Звяк-як! Звяк-як! — Тракторист подковыряет трактор: весенне-летние полигоны для застоявшихся в городских канцеляриях служащих. Все на поля! Март. Он выглянул в окно: во дворе таял оледневший поверху снег. Мальчишки считали на пальцах ворон, но один из них трудолюбиво долбил ломиком-фомкой канавку для стока воды. — Инженером будет, — подумал он одобрительно, — или частником при реставрации капитализма.

Пункты плана надо выполнять. Оплеуха. Тамарррисск! — Ошибка Чарльза Дарвина? Мичурина? Трофима Лысенки? Хмм! Ария Калигулы — бормотанье невыдуманной мелодии. Мыслéте. Мыслéте. Хоп! Эй, хоп! Хопкинс — ВВС САСШ. В синем пиджаке, с галстуком ниже пояса... Эр-Рияд. Хаос. Сначала было слово. Слово в хаосе — метафизическое.

Его толкнул неловкий толстый мужчина — успел после работы уже выпить; задел грязным, лоснящимся, как вороново крыло, пиджаком — шкура только что вынырнувшего дельфина. Он поморщился... Стыдящийся самого себя Нарцисс — ответственный руководящий работник (разговорный человек — так наивные чукчи определяют эту должность). Главноуправляющий. Он не хочет, чтобы его демагогия звучала в чистом виде, требует от своих литературно-художественных подданных более гуманистической аранжировки. Отсюда суть требований к искусству: художественная форма для демагогической идеи. На всякого мудреца довольно простоты. Малоземельская литература. Пиши, писатель, пиши, обличай их гадов, бюрократов, бонз, фараонов, мерзавцев, воров. Доброе это, архиважное дело, но для кого ты пишешь? — Даже в вырезатель тебя из трамвая не возьмут, если ты сидишь и читаешь книгу. Это хорошие люди — читатели — негодуют вместе с тобой. А зачем это им? — Они и так хорошие, некоторые даже просто замечательные. А гады, бюрократы?.. — Они твоих слов не прочтут, они вообще не читают книг, довольствуясь передовицами: чтоб нос по ветру держать, и — «Советским спортом» для души. Для чего вообще ты пишешь? Ведь не всякому под силу взять на вооружение девиз: «Служить бы рад, прислуживаться — тоже!» Мимикрия — прекрасное, ласкающее шелестом новеньких купюр ухо слово. Сколько у нее оттенков, но мне более всего нравится из словаря мимикрии универсальный фразеологизм «снять пиджак». Действительно, уникальный термин, определяющий сущность мимикрии. В старинном, довоенном фильме ответственный хозяйственный работник, едуци на пароходе, призывает с мостика пассажиров: «Поможем нашим кочегарам!» — лихо снимает пиджак и, увидев, что вдохновленный народ бросился в топочный трюм, тут же делает пиджаком кульбит, вновь его надевает. Второй оттенок фразеологизма означает неуклюжесть подражания. Некто ответственнейший из ответственнейших, которого полтора десятка лет привыкли видеть с экранов и фото в темном, солидном пиджаке, отправляясь с визитом в такую прагматичную страну как США, «снимает пиджак», то есть

преображается в энергичного, делового человека — надевает эту такую бесподкладочную инженерскую куртку. Но такое подражание может быть просто смешным. Некто, солидный, деловой, работает с бумагами. «Ух, заработался, аж пар идет!» — снимает пиджак, оставаясь в рубашке, галстук, приличной шерстяной кофте с вырезом на груди. В такой одежде можно без пиджака в оперу ходить. Его коллега, рангом намного ниже, неуклюжий простак, совсем недавно из деревни, думает: наверное так в городе принято? И хотя ему совсем не жарко, снимает свой пиджак, под которым обнаруживается неловкая на вид, слегка траченная молью безрукавка: 40 % шерсть, 60 % — синтетика.

Прошло полгода, а он не мог до нее дойти.

◆ Он вышел из надоевшей хуже столовских котлет, замороженной, загнившей в замкнутом пространстве неотворяемых по причине женских ревматизмов окон зимней своей конторы. Еще на пути от гардероба — через вестибюль к выходу — чуть не стало дурно: он был одет в зимнее пальто, шапка стиснула, прижала к коже намокшие от душного пота закупоренных комнат волосы. — И вмиг закоченел, потный, в ватиновой своей оболочке, выйдя на пятнадцатиградусный вечерний мороз с сыростью: желток в растопленном, кипящем сливочном масле, он катается, перекачивается. Только все наоборот, на 180° перевернуто. Гнусно.

Она должна была его ждать на перекрестке у дома со стесанным углом магазинных дверей. Он взглянул на часы; она ждала его через десять минут, ровно столько, сколько требовалось, чтобы пройти пешком до перекрестка. К ней. Он прошел мимо вахтера, махнул перед его лицом ладонью с пропуском. «Стрелок-ударник ВОХР не допускает осечек!». На гимнастерке его под распахнутой черной шинелью виднелся значок «Ударник охраны». «Офицер без промаха стреляет...»

Ранние сумерки тонули в синем, цвета рафинада, грязноватом городском перелопаченном снеге. Люди сумрачной рысцой бежали вниз, вверх, поминутно натягивая на уши отогнутые с плеч воротники. Щипало. У входа в подворотню сидел на приотптанном снегу серый бездомный котик, плача, держал на весу замерзшую переднюю левую лапку. Толстые в зимних одеждах — даже в натуре стройные женщины взывали мимолетную скуку: зимнее пальто очерчивает не бедра, груди и плечи, но лишь плоские, утрамбованные слои одежд. Кокетливость манекенов из папье-маше.

Неряшливая неоновая реклама. Одна буква не зажглась: «Гастр...ном». «Гастр» — желудок (ведь и гастрит?), «ном» — наме, имени; то есть «имени желудка», или, что то же самое: имени Желудка, «им. Желудка»? Так понятнее, вернее. Две недели назад умер от болезни желудка сосед, только что вернувшийся с пятнадцатилетней отсидки; засел еще с несовершеннолетия, ограбив с друзьями пьяного, но непростого человека. Засел, да так и не успевал доехать все эти пятнадцать лет до дому в краткие дни свободы, а кто за червонец отбухает в зоне, тот приходит домой помирать от туберкулеза, либо от желудочной язвы, рака тож. А все гастра — желудок от каши-магары, неразваренной гнилой капусты, рыбки-мойвы. Правда, мойву уже много лет как все вольные хрумкают. А мойвой кормили при Ёське: помни 37-ой! Мы — дети детей 37-го, а сто лет тому назад с иным совершенно пронсом (и французским, и смысловым — одновременно) повторяли схожие слова Муравьева-Апостола: «Мы дети 1812 года». Ой! Что-то заболтался, забыл про вещие слова Михаила Сергеевича (Лунина), друга Апостола: «В России два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга». А вот современный наш потомок булочника и черносотенца Колоколина (сколько волка не корми., как бы сказал давний мой знакомый и сосед, бывший подполковник НКВД Сидор Матвеевич Солянкин, пенсионер-долгожитель) все как-то не в ногу с эпохой и духом времени идет: ходит по ули-

цам наголо обритый, ездил наемни в Москву, в тамошней пагоде принял буддизм. Тоже мне... барон Унгерн! Хорошо быть буддистом — молись где хочешь, главное — в душе своей. А вот если в нашем среднерусском городе веру Пророка принять? Как быть, где мечеть искать? — Он стал вычислять, вышло, что ближайшая находится — если брать расстояние по прямой, без учета реальных дорог — в Касимове соседней Рязанской области. А есть еще поселок Кадом рядом с Касимовым, так тот еще ближе, но... вряд ли в Кадоме сохранилась мечеть с тех легендарных времен, когда братцы Касым и Кадым съехали с Орды на Русь... на службу.

И в этом зимнем, безотрадном вечере с холодной душой города он видел ее — всю недалнюю дорогу: в зимней одежде, в белоклетчатом пальто с поднятым воротником, в меховой шапочке, руки в перчатках, а по нынешней моде длинное платье снизу переходило в черноту сапог. Ни единого пятна живого тела, только покрасневшее сквозь пудру на морозе, смеющееся навстречу ему, самой себе, всем на свете ее лицо. Лукавый, зимний, детский взгляд. Он ее увидел и не только в мыслях: в конце улицы на перекрестке.

◆ Вначале было слово, плоть после. Скрытая зимой плоть ушла, остались слова. Снова было слово. Слово любви — абстрактного символа единения не плоти, но души, слова, а плоти — потом, затем, на всплеске самой любви.

Распалась связь времен — балансировка вѣчных отношений, в полон любви попали пять княжон... Пред вѣчными отношениями стояло слово: символ, летопись любви.

До нее оставалось несколько шагов, взгляды их еще за полминуты до того схлестнулись, сцепились, завязались; есть объятия взглядов, слов, плоти. Первое объятие — взглядов. Как в самом начале было: их взгляды встретились и... чуть недоверчиво дотронулись друг до друга, а потом как в омут — обнялись, переплелись. За ними обнялись слова, а потом тела свились в крепкой, нежной игре непрерывающихся объятий.

◆ — Ты знаешь меня?

— Конечно... — она чуть улыбнулась: лукаво и откровенно, как может предельно откровенно улыбаться всем — потаскуха, тебе одному, избранному — твоя женщина, только что разомкнувшая свои объятия. До нее оставалось несколько шагов, когда он вспомнил этот, уже такой давний разговор; было продолжение разговора:

— Ты как себе представляешь любовь?

— Это ты.

— А меня... как любовь?

— Уй! Какой ты вѣдливый.

— Наверное, ты не то слово хотела сказать: иезуит, схоласт? А?

— Ты — глупый, скорее — глупенький. Уже большой, умный, а не понимаешь, что женщины таких слов не произносят.

— Почему?

— Они холодные, нечеловеческие, потому — неженские. Их кто-то где-то придумал.

— А женщины не любят придуманных слов?

— Как придуманной любви!

— Ясно. Господи, да ты — законченная логика, а говорят исстари, что внемагазинная логика недоступна женщине?

— Зато любой логик за честь почитает быть в объятиях у доступной ему женщины.

— Прекрасно. Я тебя люблю. А дальше... *qui vivit-a-vegeta!* Тебе понятно: ки вивра-верра́, поживем-увидим.

— Милый, с чего начинаем, тем всегда заканчиваем. Мораль: простота не хуже воровства: в любви.

---

— Знаешь, я все время думаю, удивляюсь: как такие люди могут на свет-то появляться? Ведь это законченный ублюдок!

— Что ж... такой родился. Человек он, конечно, малопрятный в общении...

— И только!? Малопрятный! Да он мерзавец, смесь свиньи с собакой!

— Ну его. Что о нем говорить. Всякие на свете приживаются, не могут же, с другой стороны, все праведниками быть.

— Не ожидал от тебя. Это же настоящий конформизм. Неужели не можешь прямо сказать: ублюдок он, ублю-док!

— Видно, это и есть пресыщенность любви. Тебе все более и более нравится изводить меня, но — я спокойна. Да оставь ты его, ведь не брат, не сват, не друг он тебе... мне тем более. Не хочу говорить, слышать. Неужели нам не о чем с тобой говорить?!

◆ Всего несколько зимних (по удобренному серой с красной селитрой солью городскому снегу) шагов оставалось до нее, когда разговор этот ожил в памяти. — Прочь-прочь! Это же самоистязание — вызывать в памяти глупейшие подозрения, не имеющие ни капельки реальной основы. Своего рода мазохизм, нарцисстическое любовование собственной порядочностью. Ты теряешь чувство реальности, чувство связи с вещным миром, уподобляешься ребенку младенческого возраста, который в своем воспринимающем и самовыражающем состояниях окутан легкой, явной пеленой покрывала Майи, а жизнь его в этот начальный период проходит в теплом, нежном тумане материнской ласки, всеобщей любви...

Она ждала его, глаза ее сияли, широко смотрели на него — ее овеществленный мир радости и грядущего горя. Даже ее слабое сопротивление слов обидело его тогда, он замкнулся, замолчал до той поры, пока она униженной женской лаской не умягчила его мужское, эгоистичное от природы сердце, умастила душу, покорно повторила за ним весь набор слепозлобных ругательных слов. И тогда он ласкал, любил ее, это ровное дыхание, мягкие, чуть спутанные волосы, отданное ему тело и душу худенькой его подруги — его alter ego, его подобие в ласковой женской душе.

◆ Он тотчас же, без перерыва, вспомнил, и ему стало жарко стыдно за себя, так грубо, глупо поправшего ее женскую беззащитность... Тогда же, перебирая гладкие, мягкие волосы, совершенно не ощущая ее состояния приниженности раскаявшейся, без вины почувствовавшей себя виновной, женской души, просто чтобы что-то говорить, не молчать от распирающего счастья власти, обладания, сказал: хорошо бы, наверное, смотрелись ее волосы светлыми... Она болезненно сжалась, промолчала, видно вспомнив о другой в его жизни беловолосой, сочтя это за предел-пределов мужской власти-испытания, а через день он встретил ее испуганной, стыдящейся непривычного цвета своих волос, обесцвеченных химической дрянью, своей безграничной покорности, беспредельного унижения. В тот вечер он, пьяный, плакал, умолял ее зачерствевшее, онемевшее от горя унижения сердце, просил прощения и добился-таки, чтобы она все убрала, подарив, вернув ему хотя не настоящий, но очень похожий на свой прежний, мягкий темнокоричневый цвет волос. Веющий на ветру шелк, ныне упрятанный под зимнюю шапочку. Стыд, стыд, стыд... Он застонал, легонько, делая вид, что смахивает невидимое с ресниц, ткнул себя костяшкой пальца в бровь. — Это напомнило детские проделки-гляделки, он покраснел, разозлившись теперь уже на самого себя.

Она — через редкие проходящие меж ними головы — улыбнулась ему, он отвел взгляд. Стыд, стыд, стыд! — Не детского, неоформленного еще вождения, но беспредельной покорности, мужской силой и эгоизмом воплощенной в ней, в душе своего alter ego.

◆ Сначала было слово. Свободное сплетение ассоциаций: зрение, слух, обоняние, осязание — поставщики слов двора Его Императорского Величества. Павел Буре — тяжелая серебряная лепешка ... снова историческая память недействительных ныне слов. Работает с ним некто Васильков; на его памяти начал служить еще молодым специалистом, быстро благоустраился — папа, районный снабженческий начальник, купил трехкомнатный кооператив, женился на голубоглазой Оле, тож молодой специалистке, ведущей происхождение от некогда сосланного государем-императором в Сибирь за смутьянство польского графа-конфедерата, а в один прекрасный день перестал здороваться даже с однокашниками: председателем профкома учреждения «избрали». А в розовом двухэтажном каменном доме в старинном российском городке, где на покое отдыхал в родовом гнезде от снабженческих забот Васильков-старший, в пятом уже поколении купец 1-й гильдии (до 1917 года — официально), на чердаке хранятся продолговатые ящики с выжженными по трафарету надписями: «Поставщик двора Его Императорского Величества купец 1-й гильдии Петр Васильков с сыновьями». Все предки нынешнего владельца родового гнезда поставляли к царскому столу особо крупные, вкусные яйца, коими славились здешние куры, а курам помогали выписанные при Екатерине из Голландии петухи. Проболталась подружкам-чернавкам голубоглазая графинюшка... Сам же Васильков-младший тем временем шагнул на следующую иерархическую ступень: теперь он парторг учреждения, в духе времени здоровается даже с младшими техниками и нечесами-лаборантами.

Всего несколько зимних шагов оставалось до нее, ждущей на перекрестке у стенного углового дома — рубанком гигантского плотника, срубившего трехэтажный дом в самом узле городских улиц.

— Безбородый плотник, он смотрел с заученным терпением святого статиста акта нефизиологического зачатия от Св. Духа идеи повторного спасения искромсанного в грехах человечества. Возвращенный рай — paradiso. Comme il faut — безбородый плотник из Галилеи. Вымученное терпение в глазах его, созерцающих на зачати духа: слóва, но не плоти, слóва — символически облеченного в плоть родившегося под рукой мастера-флорентийца младенца на руках непорочной жены безбородого плотника.

Уже в который раз зарождалась в его голове мысль, но никак не могла законченно оформиться: зачатие духа, слóва — первооснова любви. Она — символ спокойного безбородого плотника, робко, терпеливо, стоя в стороне от самой себя, смотрела, как в его глазах зачинался Св. Дух, им же генерированный, лишь отраженный от ее глаз чувством любви. Истинно, истинно говорю вам: если он любит ее, то что ей до этого? Слоеный пирог, воздушный слоеный пирог зародившегося и отражаемого чувства.

— Пойдем, подруга, переспим! — грубый диссонанс воспаленных вечерней чувственностью улиц.

◆ — Простота ли хуже воровства? — Он сам украл свое сердце, подделав ее имя на документе: «Декларация о многообещающем союзе любви». Просьба не путать со свидетельством о браке — то фискальный документ.

Всплывшее слово «документ» потащило за собой ворох дневной работы — восьмичасового сидения в конторе, перепичканной чертежами, документами с разными

грифами: абсолютно секретный документ подлежит уничтожению методом пережевывания еще до его сочинения! Уровень интеграции, составитель М. А. Берг. Introduction of impurities. Селективное травление. Объединение в одном монолитном узле свыше 1000 вентиляей. Планерка. «Current problems in the electrical...» «К. Уинстон Деббс родился в 1932 г. Имеет степень доктора философии в области электроники. Линкольновская лаборатория МТИ...» Привет! — Возможно ли без предварительного согласования со службой нормоконтроля сопряжение деталей в системе отверстия по 2-му классу точности, если одна сопрягаемая деталь выполнена по чертежу, утвержденному начальником сектора, а вторая — начальником отдела, причем общеизвестно, что они уже двадцать лет подсидживают друг друга? А? — Не одно поколение конструкторов заработало шизофрению на подобных вопросах. Итого: всякая идея, доведенная до совершенства, есть абсурд. Абсурдум парадоксалис. Тьфу! Конеч, отбой, стой! Брось, брысссь! Вон... (До завтра, до 8.30, начиная с проходной). Точка.

◆ Он украл у себя свое сердце, воспользовавшись ее соучастием. Ее же соучастие только и было существование, ее худая, невыразительная фигурка, попавшая в полон любви. Паразитизм модных, прилипчивых словечек. Оно всплыло из столетнего Далевого словаря, усыпанного гнездами стародавностей.

Ее ли вина и достоинство — его любовь? Тебе-то что до этого? Ты-то здесь причем, милая головка с длинноватым тонким носиком и шелковыми мягкими волосами по пояс? Она встряхнула головой, волосы рассыпались по плечам, по спине, слились ниже, до пояса. Хрупкое, сильное, нежное, пугливое создание — отражение его любви, до которой, как полагал он, ей не должно быть никакого дела.

— Меня ли ты любишь?

— Тебя ли я люблю!?

— Душу мою?

— Душу твою!?

— Господи! Помоги ответить на вопросы мои, твои, помоги мне, господи, сообразиться, дойти до нее эти несколько разделяющих зимних (летних, весенних, осенних) шагов.

— Господи! Помоги душевно верующему в любовь. Преклоняя колени свои, я — запутавшийся в своих шагах, в грядущем ожидании ужаса того явления, имени которого суеверно не произношу, гоню из головы — памяти, но о котором все более и более догадываюсь, отыскивая повсюду его признаки: в словах, в руках, в огнях, в глазах, в душе своей и отражении ее... молю: спаси! Save!

◆ — Ты умный, ууумммный! Тю! — она смешливо нажала пальцем на его нос. Он очнулся от своей истомы-полудремы, чихнул. Она рассмеялась:

— Ты умный-преумный, умнишка ты... И лгунишка. Все бы тебе смеяться надо мной, глупой-преглупой девочкой, глупышкой.

Милый женский лепет недолгого дурачества, пока оно не сменилось обычными женскими заботами: пьяными небрежливими мужьями, бесконечными очередями, мучительными родами, нехваткой молока, хлопотной детской кормежкой, болезнями — своими, ребенка, мужа, свекрови, сестры... — пропитанными эпидемиями яслями, портящими детей садами, ядовитыми ужасами школьных вызовов. Господи, господи, помоги ей, неверующей в тебя, но верующей только в судьбу свою: тяжелую и счастливую, без минуты покоя, с криками, слезами, смехом, поцелуями: сначала любимому, потом ему, но уже мужу, затем дочери, сыну, их детям, внукам своим. Дай-то, бог, счастья зрячей дожить и увидеть правнуков?! Бедная, бедная. Счастливая, счастливая...

Она щекотала его слух умиротворяющими мужчиной словами, даже не верящими в них:

— Умный-преумный, уумный ты у меня...— выплескивающаяся через край души женская ласка: репетиция для будущего мальчика. Мальчик? Или крохотная девочка, которой она вплетает огромный розовый бант в светлые косички, любит ее, как большой живой куклой.

— Умный-преумный, ууумменький ты у меня...

Умный. Сейчас все умные; все глупые на умных переучились. В школах общественной практики. Леонардо дураком показался бы среди нынешних умников: во-первых, с бородой неряшливой (Волос сед, да ума нет! — кричали вслед городские мещанки и вредные, гладковыбритые старички — пенсионеры труда коллективного, организованного), во-вторых, оно же в последних — подозрительно умен, все обо всех знает: доносчик, провокатор или шизофреник. Таков был бы приговор.

Умные заполонили мир, оттеснив лики и мысли дураков прошлых столетий. Сглаженные всеобщим образованием, выровненные умы, сплюснутые сидением на конторских табуретах зады, свое, но схожее у всех мнение обо всем на свете. Масс медиа — человек рождается с телевизором в глазном нерве, чтобы одновременно спать и воспринимать мозгом тщательно отфильтрованную информацию, минуя световидение, цветовосприятие. Мозг — тепловатая сметана — взвесь перемешанных образов-сенсоров футбольных мячей, хоккейных клюшек, мифов о летающих тарелках, видений безбрежных (и Брежных, конечно!) президиумов, в которых восседают современные ханы, султаны, каганы в темных вицмундирах, наслаждения скромненькой измены злющей жене (Муж уехал на дачу; в ее квартирке с тоненькими стенками — тише, тише! Соседи услышат! — Без звуков, стиснув рот, без того сомкнутый гримасой потаенного, краденного у чужого мужа мига животного наслаждения без любви, без крика, стопа страсти.— Тише, соседи уже догадываются, наверное...— Жалкая рапсодия измены жене, злой, как сотни маленьких, черненьких, злющих китайских собаченок — мелкой квартирной сволочи типа «иваси». — Тише ты, ради бога, услышат, расскажут. Скорее, Вовка из школы может прийти, говорил, что историчка заболела... Потом, потом, какой же ты неловкий! — Да я не злюсь, просто волнуюсь. Ну и хорошо, не стукни дверь, целую... милый, пора.— Липко на душе).— Все умниками стали, только мыслить не научились.

— Ты умный-преумный... не как другие, милый...— Он захлебнулся от созвучия нахлынувших ассоциаций, вздохнул, действительно довольный собой: он не как другие, он умнее это делал... с чужими женами, его не тащили, не вытаскивали из смятой, неразобранной постели среди бела дня на лестничную площадку в... пардон — незастегнутых в деловой спешке брюках. Нет, он всегда был умным, грязноватый стиль спешащих чужих жен был ему знаком. Он-то всегда уходил под утро, на прощанье они, в теплых, хранящих запахи тела и духов постелях для него назначенных объятьях льнули к его губам, прижимались в прощальной ласке, целовали его, пьянея, шептали, щекоча слух: милый... жду!

Он был умный-преумный. — Прочь! Прочь! — Он отогнал навязчивые, стыдные сейчас воспоминания, поцеловал ее теплый затылок, спутанные чуть-чуть волосы, шелковая трава, щекочущая нос, ресницы.

— Ты у м е н я умный, умный-преумный, умнишка-лгунишка!

◆ Умная, бесформенная плоть свивалась, развивалась, как змея подстегивая сама себя хвостом: трччик! Трччик! Серое мозговое вещество, миллиарды брезгливых нейронов провисли от черепной коробки до всех мышц тела. — Трччик! Трччик! — Звук скрежета шершавой мысли, засохшей в глухом углу непроветриваемого подвала памяти. Энергия мысли, энергия чувств. Самовлюбленность бесформенного: презрение плоти.

Всего несколько зимних шагов оставалось до нее: видимой, осязаемой, ждущей, сокрытой плотной зимней одеждой. Всего несколько шагов оставалось до перекрестка, где стоял с прошлого века дом со стесанным углом, рубленный безбородым плотником Иосифом из Галилеи. Слоеный пирог, вечное, далекое отсюда море со смешанными водами. Родовые воды человечества — матрица прорыва к жизни.

Родовые воды, слепое беспомощное тельце Я-рождающегося, Я-увидевшего Мой Свет. Ее глаза и всего несколько шагов. Шум.

◆ Она сказала: всегда жду тебя на перекрестке у магазина в доме с угловым сколом (Обрублен топором дряхлого девственника из Галилеи). А он подумал: вечером, после работы, такая сутолока на главной улице, что идти от своей конторы (Штатное расписание, опоздание на 5 минут..., распределение отпусков) до угла, где она — худая птица над залитым солнцем слоисто-зеленым или слоисто-синим морем наслаждения своим отражением — ожидает его, что:

— я вспорхнул бы птицей,

— сильным соколом...

— и к тебе, моя радость...

— полетел бы стремглав,

— обнял бы тебя, утонул, утонул...

— утонул, бросившись в зеркало вод, где увидел свое отражение.

А светлым днем меньше толпится людей на главной улице (от сердца его — к сердцу ее) — улице, ведущей к дому со стесанным углом.

Всего несколько шагов не может он дойти до нее, ожидающей: мешает толпа. Толпа? — Гнусный, изощренный самообман. Но все же может лучше попробовать дойти до нее светлым днем? Она-то ждет его в любое время, но как он сможет уйти среди бела дня из своей конторы, мимо охранника-вахтера с наганом, в петлицах ВОХРы, в темно-синей шинели без погон? Господь-то бог его отпускает, но отпустит ли поставленный над ним начальник (...Начальником Храма приказываю я соблюдать дисциплинарный порядок; каждая потерянная минута молитвы — удар по идеологическому процессу воспроизводства религиозного чувства. П/п. И. О. Г о с п о д а Б о г а н а З е м л е: Иисус И. Христос, эсквайр.)?

Прийдя к определенному решению, в следующий же понедельник он перед обеденным перерывом спустился на первый этаж, дошел закоулками до учрежденческой столярки, попросил у Максимыча инструмент, гвоздей, подобрал валявшийся в углу хлам: обрезки досок, фанерки, рейки, — и начал работу в том же уголке, заняв пустовавший дряхлый верстак. Максимыч спросил: чем занимаешься? — И отошел в сторону молча, услышав: затем занимаюсь. Ни одна морщина не изумила его спокойное, древнее лицо, безучастное, мудрое, как у его давнего собрата из Галилеи.

Мудрость многотысячно перевидавшего все и вся на свете сдержала на его лице человеческую маску спокойного всепонимания. Мудрый, мудрый плотник, учрежденческий наследник галилейского девственника. — Старый запойный пьяница Максимыч, но мастер золотые руки, мастер на обе свои руки. Хромает — по пьяному делу угодил в темень в раскрытый, неогороженный канализационный люк. Спаси его, господь!

К концу дня он сколотил из деревянных обрезков скелет своего размера; на другой день взял на складе у завхоза, поставив четвертинку лабораторного спирта, скопленного «на случай» за последний год, полтюка грубой, серо-грязной матрасной ваты и плотно набил скелету грудь, межреберное чрево, обметал кисти рук, голени, ступни, бедра, шейные позвонки, сформировал черепную коробку с заготовкой лица.

На третий день творения принес купленный накануне вечером рулон кожезамениителя телесного цвета, большую портновскую иглу, светло-коричневые капроновые нитки; к концу дня обшил муляж кожей.

На день четвертый натер свое подобие воском, взятым у учрежденческого пчеловода Грачева, а лицо раскрасил красками.

На пятый день принес на работу заказанный еще в день первый в пастишерной мастерской парик, который надел на голову подобию своему. За работой его теперь наблюдало все учреждение: молча толпились в столярке десятки людей. Их вытаскивали за рукава, полы пиджаков ждущие за порогом своей очереди увидеть процесс творения, а пробившись вперед, так же молча стояли и смотрели на обоих: Его и его Подобие, пока еще голое, неживое. Только начальники, помятуя о своей руководящей роли, пытались давать советы.

На шестой день с утра он вдунул жизнь и оживил свое подобие, которое сразу же застыдилось своей наготы, хотя людей в столярке не было — в субботу учреждение не работало, еле-еле упросил вахтера пропустить его утром на пару часов. Но он одел подобие в принесенный с собою костюм, после чего подобие перестало стыдиться; он спокойно отвел его в свою лабораторию, усадил за свой стол, сам ушел домой.

На седьмой день он отдыхал от трудов своих.

♦ При создании своего подобия он безмерно страдал, ибо создание второго Я (alter ego) подразумевает безвозвратную отдачу части собственной жизненной силы, а значит сознательное приближение своего небытия. Но ведь близость смерти, которую он торопил самим процессом создания своего подобия, как и отчаяние (он не может преодолеть тех нескольких шагов до Н е е), являются средством для очищения души; на имитации такой ситуации основано, например, сценическое действие античного театра. А нет ли другого пути очищения души, помимо предчувствия смерти либо отчаяния? — Он укорил себя: опять ищешь легкого пути! Вот она, увертливость хитрого века. Он вспомнил старинную историю, рассказанную в одном ученом труде\*, которая своей простотой восхитила даже недоверчивого Шопенгауэра: «Близость смерти и отчаяние не являются, впрочем, необходимым условием для такого очищения страданием. И без них великое несчастье и горе может насильно раскрыть глаза на разлад воли к жизни с самой собою и показать тщету всякого стремления. Поэтому и бывали часто примеры, что люди, которые вели очень бурную жизнь в вихре страстей — цари, герои, рыцари счастья — внезапно изменялись, впадали в резигнацию и покаяние, становились отшельниками и монахами. Сюда относятся все правдивые истории обращений, — например, история Раймунда Луллия: красавица, которой он долго домогался, открыла ему наконец двери своей комнаты и, в то время как он предвосхищал исполнение всех своих мечтаний, расстегнула корсаж и показала ему свою грудь, ужасно изъеденную раком; с этой минуты он, точно увидев ад, переменялся, покинул двор короля Майорки и удалился в пустыню на покаяние».

Последний пример — собственно пересказанная великим скептиком история — ему был неприятен, но подтверждение внезапного изменения поведения, самого характера человека он мог проиллюстрировать своим соседом, отчасти родственником — мужем своей родной тетки. К концу тридцатых годов был тот далеко непростым по тем временам человеком: служил в НКВД, ездил в штабных вагонах с эшелонами, что везли разный народ из центра страны в Архангельский, Печорский края, в войну ведал заготовкой фуража, впрочем, такие люди до глубокой старости, до са-

---

\* Bruckeri. Historie Philosophie (T. IV, Par. I, P. 10).

мой смерти не говорят чем занимались. К концу войны имел заслуги и награды, заведовал лагерем для высокопоставленных военнопленных; раз как-то по праздничному делу рассказал, что сидел у него сам комендант Кёнигсберга. Прямо отсюда, по причине, утаиваемой до сих пор, сам же угодил на десятилетнюю отсидку, которую отбыл до «звонка», правда на хлебной должности зэка-почтара: после хлебрезки это было самое привилегированное место в лагерях. По освобождении розыскал в глухой деревне свою жену с малыми ребятами, осел в нашем городе, работал горновым на металкомбинате, сам построил дом, выдал замуж дочь, купил кооперативную квартиру уже в центре города, да надомничал на пару с сыном — инвалидом детства. К восьмидесятым годам схоронил свою старуху, сына, но сохранял природное здоровье, оптимизм, даже игрывал на гармошке по праздникам. В начале же девятого десятка внезапно женился на ленинградской бабке его лет, продал кооператив, убыв с нею. А вот дальше начались чудеса: зять его при встречах рассказывал родственникам, что дед с бабкой напару зачудили, ударились в религию, в Ленинграде днюют, ночуют на поповских подворьях и даже, когда приезжают к ним в гости, то все время проводят в городских церквях. Вот тебе и офицер НКВД!

Кстати, почему так много народа нынче в церквях? И почему такое отчаяние, что люди бросились искать свое alter ego в молельнях и капищах?

◆ Красивейшая из красивейших, недоступная из недоступнейших (Дождется-таки стародевичества...), его соседка по лаборатории ахнула, увидав в понедельник поутру сразу двух: Его и Подобие. Так они начали совместное существование: Подобие сидело за Него на стуле, паяло, чертило, писало, считало на микрокалькуляторе, а когда тот ломался, то двигало визир дедовской логарифмической линейки, а он, освобожденный, с утра до вечера шел по главной городской улице, стремясь преодолеть все те же несколько шагов до нее, ждущей с неиссякаемой надеждой у стесанного древним плотником угла дома на перекрестке.

...Ритмичная проза — определитель уравновешенной природы.

— Ты приди ко мне, мое Подобие, смени меня в этой жизни, освободи хоть на время от проклятия древнего бога: в поте лица своего добывать хлеб насущный. Освободи мою душу для поиска подобия души моей, но не тела моего, ибо ты, жду которого я, будешь подобием тела моего, твоею помощью освобожусь я для поиска подобия души моей — той, которая ждет на главной улице у угла, стесанного древним плотником — угла дома на перекрестке. Ты приди ко мне, мое освобождающее Подобие! *Laudetum Jesus Christus!*

Слава тебе, Всевышнему в небесах над нами, гряди ко мне, гряди мое Подобие — Освобождающее.

...Чтобы избежать вечерней толкотни надоевших, переполненных городских улиц, он позвонил ей, договорился встретиться там же («на нашем месте?») в два часа дня.

— Ты не работаешь завтра, да-а!?

— Возьму отгул с обеда.

— Ну-у, хорошо, жду. Мне-то проще.

Сделанные вовремя прививки освобождали ее. Он же наутро взял бланк служебной записки, заполнил положенные графы, лицемеря голосом, уговорил начальника, что-те надо родственника из Костромы на вокзале встретить, поставил у посерьезневшей секретарши печать, вышел на улицу, отдав бумажку насторожившемуся вахтеру; тот даже посмотрел на свет: водяных знаков «не пущать» не было, подчисток тоже. Его Подобие — бумажка с размашистой, презрительной подписью начальника,

самого низшего на иерархической лестнице руководства. Начсектора получал на сорок рублей больше его, оттого неистово презирал отлынивающих от работы. У Максимыча случился недельный запой. Мир ему! Urbi et orbi, — провозгласил некогда с Ватиканского холма апостол Петр (St. Peter)... или Павел (St. Paul)?

◆ Он вышел из проходной, на ладони горело несмываемое пятно от только что наколотого на граненый штык часового порядка клочка служебной бумаги мусорного сортамента — его alter ego, его Подобия, освободившего руки, все тело на это день. Он шел по главной улице, отвыкший от ее вида белым днем в будни, всему удивляясь, как ребенок из деревни, попавший в районный городок, напросившись на подводу к отцу, повезшему на рынок мясо неудачно забитого бычка... Сначала было слово: рассказы матери, реже — отца, старших братьев о городе. Он много думал о нем, в детских своих играх воображал себе, как с возом, с кнутовищем в руке он едет в ближний город, а сердце замирает от неиспытанного еще волнения: показаться сразу тысячам людей, не своим деревенским, знакомым, а страшным в своей неизвестности, таинственным городским людям. Урби. Урбанум, папа Урбан под номером римской цифры. Римский мир. Мир как переживание. Мир как расширение людей, звезды, слоистые моря и таинственные, шумно-веселые города, что темными вечерами, до полуночи — издали видно — накрыты световыми куполами, составленными из многих тысяч огоньков; издали слышна музыка, шум, звяканье — все не такое, как в родной деревне: звуки многочисленны, более резки, более звонки, веселее, лихорадочно поспешны. ...Его поражал вид улиц в тот час, в который он обычно, всегда, вот уже много-много лет (Пять, десять? — Но это очень много, когда тебе всего-то между 25 и 30-ю; это много, ибо только для старости года считаются как месяцы: недели, дни — пролетел и бог с ним, не заметил) сидит за своим столом, а в окно виден только кусочек захламленного двора.

Это улица и время счастливых, кто может в два, в три часа встать со стула, разорвав скулы в зевоте, потянуться, хрустнув всеми суставами застоявшегося тела, надеть пиджак, выйти в мир, в город.

Он шел, глаза его отскакивали, вновь с любопытством прилипали к солидным пенсионерам, покупающим в киосках вороха газет, к бабушкам, катающим коляски с младенцами, к студенткам, стайками стрекочущими все одновременно языками и каблуками, к холеным молодым женщинам. — Все праздно гуляли по прекрасной, чистой, спокойной улице. Он купил и съел пирожок с требухой — воля способствует аппетиту.

Он издали, не как в выходные дни или вечерами, а ясным будничным днем, спокойным, радостным, не через густую толпу, а через редкие головы подчеркнуто индивидуализированных прохожих, увидел ее. На сердце нахлынуло, сладко защеколота, заныло в груди, теплом махнуло по щекам, губам, лбу, словно ее шелковистые волосы, разметавшись на ветру, мягко осенили его. Он любил ее.

И в дополнение к такому невещественному счастью вспыхнула яркая решимость защитить эту его любовь от спешащего, толкающего множеством плеч вечера, неудобства, неустроенности выходных дней и праздников. Он хотел любить ее днем, любить в будни, но празднично, в солнце, в дни со свежим теплым ветром. А изобретательный ум уже строил химеру, естественное доразвитие реально существующих отношений: вот в их учреждении случается очередной припадок бюрократической, ведомственной бдительности, ибо предприятие-конкурент вознамерилось разработать такую же машину (сноповязалку, например), над которой их учреждение бьется уже две пятилетки, естественно, «передрав» их чертежи, тем самым опередив их, опорочив в глазах главка. Поэтому, наряду с содержанием работ, зашифровываются имена начальников, ведущих специалистов. Чтобы агенты конкурентов не подпоили

их, застав врасплох в шашлычной, не вывели утаиваемые особенности решения кинематической схемы сноповязалки, засекречиваются сами лица начальников, специалистов. Уже никто не видит начальников, а он днем свободно — не у кого служебку на выход подписывать! — выходит на улицу к ней.

Следующий припадок — засекречена сама работа, никто не знает, чем он должен заниматься. Через сколько-то времени, с целью дезинформации конкурентов, засекречивается местоположение учреждения, его название, наконец, анонимами становятся сами работающие. Теперь они время от 8.30 до 17.15 проводят дома, на даче или где им угодно. Официально, фактически у них теперь нет ни учреждения, ни работы. Они полностью свободны. Зарплату и премии присылают по почте телеграфом, без обратного адреса. Спешно растут райские яблоки.

...Его отвлек крик торговли горячими пирожками с требухой, сладостная химера лопнула. Чтобы сократить обиду, он облизнулся, съел еще два пирожка. Ее головка лохматилась на ветру — чуть посильнее здесь ветер был! — на перекрестке веков.

«И всех веков прошедшие химеры!»

◆ Но не помогал светлый будничный день. Солнце освещало окно-стену магазина радиотоваров; за прилавками, обозреваемые с головы до пяток, стояли лиловые, разомлевшие в тепле восемнадцатилетние кобылицы; всплыл в памяти опять Тот; почему же ему не удовольствоваться этими кобылками? Легко, радостно они бы родили ему законных и конных жеребят...

— Бешеный кобель, сияющий наглостью и злостью: трудолюбивое отродье, за карьеру винтика готов выпрыгнуть из будки, звеня цепью, облаять, исходя слюной, всех и вся. Печальное сочетание: трудолюбие и золотые руки даны отъявленному, уже патологическому наглецу, мерзавцу, карьеристу, бешеному псу, ублюдку от невозного жука, незванного гостя на могильном пиру. — И он в который раз огорчился ее спокойному, маскируемому безразличию при упоминании...

Можно ли любить цепного кобеля? — Нет, только он может любить ее, любуясь в ее глазах отражению своего спокойного лица, но мятущейся души, внутренней своей доброты, ласковости, незлобivosti.

Пусть бешеный незванный кобель кусает сам себя в курчавый, черной шерстью поросший бок.

◆ — Мир тебе, моя возлюбленная! Имени твоего не будет в списках пьес новонародившегося Шекспира, но именем твоим мое сердце, как девизом умирающего и страдающего рыцаря, живо! Ты — моя Гая, я — твой Гай! — До нее оставалось несколько шагов. Она взмахнула рукой: белый лебедь.

Он ласкал ее. Ласки любовного самоистязания. Он ласкал ее тело, как придаток, дополнение своего, но открытого для ласки; когда рука его, ощутив округлость ее бедра — шлковистую кожу, случайно касалась собственного тела, то, непроизвольно отдергивая руку, сорвавшуюся с теплого, нежного шелка, коснувшуюся холодной, потусторонне воспринимаемой собственной плоти, он думал: непризнание своего тела. Его Я воплотилось в Я-Ее: прерывистом, с хрипотцой голосе, податливых мягких губах, затворонных от извечного, от Евы — женского стыда глазах. Еще она стыдилась, когда их колени соприкасались: табу, но почему? — Может потому, что здесь плоть грубо соприкасается с плотью?! И не было ласкового касания, мягкой округлости. Она стыдилась, что есть у нее такие места на теле.

Он жалел ее.

◆ До нее оставалось несколько шагов, два шага, шаг... Наконец-то он решился, ступил ногой свой последний шаг. Он ударился сразу лицом, плечами, грудью, коле-

нями о толстую, мощную, прозрачную стену из пуленепробиваемого стекла. За стеной стояла она, невозможно близкая и уже навсегда далекая, растерянно-непонимающе смотрела, полная отчаяния, на его разбитое в кровь лицо.

Она печально, грустно, безысходно посмотрела на него в последний раз, а тот, мерзкий, схватил ее за руки, увел от него, увел послушную, робкую, всепонимающую. Он бешено, в кровь разбивая руки, колотил в стену. Увы! Было поздно. Она исчезла.

— Я плачу и рыдаю, егда помышляю! О, Солон! Солон! О, горе мне! О, на ка-  
з а н и е!..

*Тогда к Пенелопе стали свататься женихи. Число их было: 57 с Дулихия:*

*Амфином,  
Тоант,  
Демоптолем,  
Амфиамах,  
Эвриал,  
Парал,  
Эвенорид,  
Клитий,*

.....

Еще 23 с Самы, с Закинта 44, с самой Итаки 12 женихов. Так было. Меня не было среди них. А была ли она? Цайдзянь!

